

Петр А. Свительский

---

Библиотека  
Московской  
школы  
гражданского  
просвещения

*Путь к Пангее*

*Международная политика в эпоху  
“глобализационной конвергенции”*



**Библиотека  
Московской  
школы  
гражданского  
просвещения**

Библиотека Московской школы  
гражданского просвещения

Редакционный совет:

А. Н. Мурашев

В. А. Найшуль

Е. М. Немировская

Ю. П. Сенокосов

А. Ю. Согомонов

М. Ю. Урнов

*Петр А. Свительский*

Путь к Пангее:  
международная  
политика в эпоху  
«глобализационной  
конвергенции»

*Московская  
Школа  
Гражданского  
Просвещения*

2013

ББК 63.3(0)64

С24

Перевод с польского языка *Юрия Чайникова*

Художественное оформление серии *Андрея Бондаренко*

*Книга издана при поддержке Польского культурного центра в Москве, Стокгольмского института переходной экономики (SITE), группы компаний «Рольф».*

### **Петр А. Свитальский**

С24 Путь к Пангее: международная политика в эпоху «глобализационной конвергенции». Перевод с польск. яз. (Piotr A. Świtalski. Droga do Pangei: polityka międzynarodowa szaszu «globalizacyjnej konwergencji». Wydawnictwo Adam Marszałek, 2011). — М.: Московская школа гражданского просвещения, 2013. — 200 с.

Автор, профессиональный дипломат, международный политик высокого ранга, подвергает в этой книге критическому анализу ключевые особенности мирового порядка после окончания холодной войны. Главная констатация — международное сообщество становится все менее управляемым, а геополитический тип мышления и действий — все более неэффективным. Растущая мощь Востока, цивилизационные, социально-экономические и политические проблемы Запада, «индивидуализация» мира, усиление влияния эмоций, национальных кодов, ментальных ориентаций общества требуют от элит радикального переосмысления логики управления мировыми процессами. Особенно острой автор считает задачу реинтерпретации роли Европы в мировых событиях. Простых решений не будет, констатирует автор. Ясно одно: соединить фрагменты пазла многополярного мира в гармоничную картину символического континента «Новая Пангея» способен нарастающий процесс «новой глобализационной конвергенции».

**ББК 63.3(0)64**

© Wydawnictwo Adam Marszałek, 2011

© Московская школа  
гражданского просвещения, 2013

ISBN 978-5-91734-039-5

## Введение

Вот уже двадцать лет, как мир пребывает в «межвременье». Сразу по окончании холодной войны казалось, что еще немного и наступит новый прочный международный порядок. Его часто рассматривали как простое следствие исчезновения восточного коммунистического блока из старого биполярного расклада сил. Новый же порядок должен был строиться на ценностях либеральной демократии, рыночной экономики и на международных институтах, в которых первую скрипку играли бы демократические страны Запада. Однако воплощение нового порядка в жизнь столкнулось с трудностями и затормозилось. Замедлился победный марш демократических ценностей. В политике на первый план вышли конфликты и напряженность. Международное сообщество потеряло управляемость. В итоге мы перестали понимать, в чем, собственно, мог бы состоять новый порядок. А временное состояние, неустойчивый переходный период, казалось, обосновался навсегда. Так появилось понятие «межвременье».

Однако изменения, что произошли в международном сообществе, сегодня воспринимаются как нечто более глубокое и значительное по своим последствиям. Возвешен конец эпохи господства Запада, продолжавшейся без малого пятьсот лет. Центр цивилизационного лидерства, кажется, должен неизбежно переместиться на Восток — к набирающим силу Китаю и Индии. Для подтверждения этого тезиса приводят тот факт, что в 2010 году Китай вышел на второе место в мире по объему ВВП, опередив Японию. Еще более

красноречивым является то обстоятельство, что в том же 2010 году Китай снова (после 150-летнего перерыва) стал самым крупным в мире производителем материального продукта.

В силу политических или интеллектуальных традиций отношения между зажиточным Западом и динамично развивающимся Востоком часто рассматривают в категориях конкуренции, порой даже как игру с нулевой суммой, в которой выигрыш одного из соперников означает проигрыш другого. Над таким восприятием витает призрак новой глобальной конфронтации между Западом и всем незападным «остальным миром», призрак глобального столкновения цивилизаций. «Валютные войны», протекционистские барьеры, движения против иммигрантов являются, при таком состоянии дел, предвестниками более яростного соперничества. Китай, Индия и другие набирающие силу державы будут постоянно отодвигать Америку и Европу с ведущих позиций в экономическом и политическом влиянии<sup>1</sup>. Мировая политика будет отмечена противоборством за доступ к стратегическому сырью, господству на экспортных рынках, а быть может, даже и за дешевую рабочую силу. Существуют прогнозы, что растущая мощь Востока приведет не только к относительному ухудшению положения Запада, но и вообще к его цивилизационному закату. Недавний финансовый кризис — всего лишь симптом более глубинных процессов «деградации». Запад, согласно этой оценке, отступает от тех ценностей, которые были его цивилизационной основой и которые обеспечили его исторический успех. Жадность банкиров, спровоцировавшая финансовый кризис, представляет собой отрицание этоса капиталистической конкуренции. Молодежь больше не стремится в науку. Пустеют церкви. Частная собственность находится под угрозой государственного интервенционизма. А общество погружается в потребительство и моральный релятивизм. Все это может привести Запад к внезапному краху. Любая цивилизация — а уж такая сложная, как западная, особенно — имеет склонность к бы-

строму и неконтролируемому переходу от стабильности (даже в ее стагнационном варианте) к растущей нестабильности. Закат Запада может ускориться климатическо-экологическим катаклизмом, а то и новым Армагеддоном — мировой войной<sup>2</sup>. Поэтому Запад погрузится в упадок, который станет концом — впрочем, столько уже раз объявлявшимся — Запада как цивилизационного проекта.

Иную и, несомненно, гораздо более оптимистическую перспективу дает взгляд на отношения Запада и Востока как на процесс нарастающей конвергенции в мировом развитии<sup>3</sup>. Динамичный экономический рост в Китае и в Индии на фоне замедления роста в США и в Европе, усугубленного финансово-экономическим кризисом 2008–2010 годов, ведет к выравниванию уровней доходов населения Востока и Запада, к сближению качества жизни. (По данным Международного валютного фонда, если принять уровень ВВП в 2005 году за 100%, то ВВП Японии в 2010 году достиг показателя 102%, стран зоны евро — 104, США — 105, а вот Бразилии — 125, Индии — 147, а Китая — 169%). Экстраполированная на несколько десятилетий, эта тенденция формирует перспективу постепенной конвергенции Запада и Востока, переплетения политических и экономических влияний. Хотя достаточно нескольких данных, свидетельствующих о возможности замедления роста Китая и Индии, чтобы тезис о конвергенции лишился убедительности. Появился же он, поначалу робко, несколько десятилетий назад, когда у всего мира перехватило дыхание от тех темпов экономического роста, которые демонстрировала Япония, а потом и малые азиатские тигры. Затем этот тезис пришлось отложить до поры до времени. И только рост Китая заставил вспомнить о нем, а заодно и поставить крест на теории так называемой большой дивергенции, то есть углубления разрыва в уровнях развития и богатства Севера и Юга.

И все-таки в нынешних тенденциях просматривается нечто более основательное, ибо даже Африку удалось

вырвать из явной деградации. Она впервые переживает настоящий экономический рост за всю свою постколониальную историю. Быть может, у мира действительно появился шанс смягчить диспропорции и выравнять уровни развития. Если еще в начале прошлого десятилетия рядом с термином нео- или реконвергенция ставили знак вопроса<sup>4</sup>, то сегодня все чаще появляется восклицательный знак.

Процесс «глобализационной конвергенции» должен, по идее, привести к интенсификации политических, экономических и культурных отношений. В символически-геополитическом измерении мир слился бы в Новую Пангею — один общий мировой континент. Точно так же, как и реальные тектонические процессы передвигают континенты.

В новой политической Пангее исчезло бы разделение на центр и периферию, на полюс господства и область подчинения. Периферийность перестала бы быть неполноценностью. И тогда Новая Пангея не выглядела бы как идиллическая утопия. Мир без центра, сросшийся в единое целое, не перестал бы сталкиваться с конфликтами интересов, противоречиями и трудными проблемами. Общество без конфликтов — не является свободным обществом. Точно так же и лишенное конфликтов мировое сообщество не будет свободным. Во всяком случае международные отношения в сросшемся мире не стали бы более простыми и более управляемыми. Однако они решительно отличались бы новым системным качеством. Прежде всего они опирались бы на осознание взаимозависимости, снижали бы опасность установления чьего-либо господства.

Концепция конвергенции несет понятное психологическое успокоение, особенно Западу. Запад не только не должен испытывать беспокойство в связи с ростом Востока, но даже активно приветствовать такой рост.

Одно несомненно: среди политиков, дипломатов, экспертов крепнет убеждение, что они являются участниками процесса, который в соответствии со своей неосознанной до конца логикой может принципиально изменить форму меж-

дународных отношений. Сегодня еще слишком рано говорить о том, как они будут выглядеть. Во всяком случае перед специалистами с футурологическими склонностями открывается широкое поле для самореализации. То и дело появляются новые системные теории. Но данная публикация не из их числа.

Замысел настоящего эссе значительно проще и скромнее: во времена резких изменений международной среды позволить нашему воображению свыкнуться с новыми концепциями, взглядами, но в большей степени примирить его с необходимостью расстаться со старыми и проверенными понятиями, с помощью которых мы до сих пор неизменно объясняли происходящее в мире. К постоянно меняющемуся миру все труднее становится прилагать старые мерки. Особый же акцент в этой книге делается на то, чтобы наше польское политическое мышление избавилось от двух склонностей, которыми оно особенно грешит: от геополитики и историософии. Но это отнюдь не только свойство польского мышления.

\* \* \*

Польская вера в геополитику объясняется трудной национальной судьбой. Поляки становились жертвой территориальных экспансий, геополитических игр европейских империалистических держав, мы больно на себе прочувствовали их рост и умело воспользовались их распадом. Мы теряли и вновь обретали независимость. В силу геополитического приговора мы оказались в социалистическом лагере. Когда же он пал, то мы устремились в структуры НАТО и ЕС, чтобы раз и навсегда избавиться от геополитического проклятия.

Однако привязанность нашего мышления к геополитичности все же осталась в том, что касается нашего видения будущего. Мало в какой другой европейской стране так часто можно столкнуться с примерами геополитических альянсов, особенно при рассмотрении политического положения на востоке Европы. Например, одной из наиболее

глубоко укорененных аксиом, существующих в сознании польских стратегов является убеждение, что без Украины в своем составе Россия никогда не будет империей. Или вот еще пример: для действующих польских политиков аксиомой является опасность стратегического сближения России и Германии.

Однако если на первый взгляд геополитика имеет у нас сильные позиции, то в основе своей они, похоже, не столь очевидны, что предопределено рядом факторов.

Во-первых, силу государства на международной арене определяет не географическое положение, не оно определяет его судьбу. Это утверждение может прозвучать недостаточно убедительно, когда перспектива климатических изменений угрожает существованию отдельных государств, а потепление может привести к краху сельского хозяйства в других государствах. Также если предположить, что исчерпание минеральных ресурсов, в особенности энергетических, может обострить соперничество за доступ к ним, то следовало бы сделать вывод, что географический фактор никогда не потеряет своей значимости. Однако факт неравномерного размещения природных богатств сегодня не является и тем более не станет в будущем решающим фактором, определяющим перспективы развития.

Со времени японского экономического чуда мир был свидетелем нескольких примеров (не только в Азии) успешного роста без наличия в стране сырьевой базы. Равным образом «сидение» на нефти и газе не дает автоматического пропуски в клуб здоровых народнохозяйственных комплексов (хоть всегда дает шанс обогатиться, по крайней мере части общества). Благодаря глобализации проявилась долгосрочная тенденция: экономический и политический успех может быть достигнут в любом уголке планеты. Взять хотя бы группу БРИК, страны-участницы которой объединяют отнюдь не географические, цивилизационные и исторические признаки. Народнохозяйственные комплексы Бразилии, России, Индии и Китая имеют свою специфику, а их

ускоренное развитие подпитывается из разных источников, у них разный исторический фон. Несмотря на все это, они позволили убедить себя, что составляют общность, и из придуманного финансовыми аналитиками акронима проступила политическая реальность: встречи, в том числе и на высшем уровне, декларация общих позиций. Три из них, несомненно, уже стали или становятся символами экономического успеха. Тем временем БРИК выросла до БРИКС, когда к ней присоединилась ЮАР. Это доказывает, что дело тут не только в общей гордости достигнутыми экономическими успехами.

Во-вторых, сила государства в международных отношениях не зависит от размера его территории. Территориальная экспансия представляла в прошлом естественный и неизбежный путь становления империй. Так возникали европейские империи — австрийская, германская и российская. Колониальными завоеваниями создавали себе имперский статус Испания, Португалия, Англия и Франция. Пруссия добивалась территориальных приращений главным образом мечом, Австрия — брачными контрактами и договорами о наследовании престола. Эти державы без стеснений забирали территории, на которые они не имели ни этнических, ни исторических, ни даже стратегических прав. Это относится также и к России. Даже если поначалу ее аннексионистскими устремлениями и двигала идея защиты православных, то позже под царский скипетр загнали польских католиков, финско-балтийских лютеран, мусульман Поволжья, народы Кавказа и Средней Азии.

С высоты нашего времени стало ясно видно, насколько прав был Зигмунт Бауман, когда подчеркивал, что «Глобализация означает, в сущности, самопроизвольные, спонтанные и непредсказуемые процессы, которые никто из властей предержавших не в состоянии ни контролировать, ни планировать; никто равным образом не может предвидеть их конечные результаты»<sup>5</sup>. Понятие порядка постоянно девальвировалось. Можно дискутировать, до какой степени, до той

ли, что «в глобализирующемся мире порядок становится показателем слабости и подчиненности», а «новая глобальная структура власти приводится в движение противостоянием между мобильностью и рутинной, между отсутствием ограничений и их чрезмерностью»<sup>6</sup>. Процесс глобализации идет неравномерно в том, что касается социальных последствий. В плане управления международными отношениями относительно большее значение имеют подстегнутые глобализацией разные темпы развития («конвергенция»), чем те напряжения в глобальной системе, которые возникают из новых расслоений внутри государств и которые связаны с появлением новой глобализационной плутократии.

Из тезисов Баумана о глобализации существенное значение имеет то обстоятельство, что глобализация ликвидирует фактор территориальности, а это, в свою очередь, меняет характер власти, которая испокон веков выступала в качестве территориальной. «Территория, сегодня беззащитная и лишенная такого ценного качества, как самообеспеченность, с точки зрения людей, пользующихся свободой передвижения, сильно потеряла в цене, в привлекательности и магнетической власти и становится все более эфемерной целью, скорее сновидением, чем реальностью...»<sup>7</sup>. Возможно, это тезис, что называется, «на вырост», на будущее, возможно, он содержит большой потенциал и не достиг предела, но для геополитики он, определенно, имеет значение, ибо не бывает геополитики без территориальности.

Канула в прошлое эпоха циничного территориального экспансионизма. Территориальные споры отошли на обочину мировой политики, даже если они касаются ядерных держав — Китая и Индии, Индии и Пакистана. Аннексия становится чем-то политически постыдным.

Однако все еще сохраняются признаки синдрома «территориального голода», например, если полагают, что нельзя представлять собой полюс в международных отношениях, не обладая зоной влияния. Эта мысль может в особенности характеризовать стратегов, формирующих политику России

и Китая. Именно этой идеей можно, в частности, объяснить использование в России термина «ближнее зарубежье» в отношении стран бывшего СССР как геополитической конструкции, на которую у России есть особые права. С территориальным аспектом связывают также комментарии о политической экспансии Китая в Восточной и Юго-Восточной Азии. Но при этом концепция «сфер влияния» становится все менее пригодной для объяснения происходящего в мире.

Даже объединение нескольких десятков государств под знаменем общей политики не гарантирует реального влияния на принимаемые в сегодняшнем мире решения. Так, на климатическом саммите в Копенгагене в 2009 году Евросоюз выступил с предложением, под которым подписались все его члены и которое поддерживало еще несколько европейских государств — не членов ЕС. Это было глубокое и хорошо мотивированное предложение. Однако в решающих дебатах о конечном документе Евросоюз не сыграл никакой роли, потому что дебаты вели американцы и китайцы. Впрочем, это не означает, что уровень поддержки не имеет значения. Без политического тыла многого не добьешься, это относится также и к американцам. Однако этот тыл все труднее обеспечить. Он становится все более неустойчивым, готовым рассыпаться под воздействием даже самого малого импульса.

Международное сообщество в последние годы становится все менее управляемым. Участники международных отношений все труднее поддаются влияниям. От двуполярной системы времен холодной войны мир быстро миновал этап однополярной системы (*Pax Americana*), после чего пришел к бесполярности, из которой, возможно, он сложится в настоящую многополярную структуру<sup>8</sup>.

И наконец, третий тезис уязвимости геополитического типа мышления: благосостояние граждан все меньше зависит от традиционно понимаемой мощи государства на международной арене.

Длившийся несколько лет период экономического процветания на стыке тысячелетий вплоть до начала финансового кризиса в 2008 году был золотым временем средних и малых государств.

Любой рейтинг государств по привлекательности жизни показывает, что лучше не жить в сверхдержавах. В прошлом, особенно в европейском прошлом, зажиточность граждан была связана с богатством государства, которое, в свою очередь, определяло его статус в мире. Таковы примеры Франции в XVII веке, Великобритании в XVIII или Германии в конце XIX века. Были из этого правила и исключения: например, имперская Россия, мощь которой не была следствием общей зажиточности граждан, но тем не менее рост международного значения России был обусловлен ее социально-экономическим развитием.

Сегодня, если измерять благосостояние граждан объемом ВВП на душу населения, рейтинг возглавят малые государства. Так, в классификации, составленной по данным МВФ, в десятку богатейших стран по ВВП на душу населения вошли в 2009 году (в порядке убывания): Люксембург, Норвегия, Катар, Швейцария, Дания, Ирландия, Нидерланды, ОАЭ, США, Австрия<sup>9</sup>. Список, составленный Всемирным банком, отличался лишь тем, что, например, места стран Персидского залива заняли Финляндия и Швеция<sup>10</sup>. Так что в лидерах, кроме США и значительно меньшими, но все же пятнадцатимиллионными Нидерландами, были в основном малые — не более десяти миллионов жителей — страны. В разработанном Программой развития ООН рейтинге человеческого развития (HDI) — аналогичная ситуация. Там в лидерах Норвегия, Исландия, Канада, Ирландия, Нидерланды, Швеция, Франция и Япония. Из больших стран только Франция и Япония. Только один постоянный член Совета Безопасности — Франция (США не вошли в десятку, оказавшись лишь на 14-м месте). Даже если принять во внимание более субъективные критерии, например «качество жизни», то малые государства имеют все шансы стать лидерами (в соответствии

с рейтингом, представленным в январе 2010 года в журнале *International Living*, главные места в классификации привлекательности занимают: Франция, Австралия, Швейцария, Германия, Новая Зеландия, Люксембург, США, Бельгия, Канада, Италия; в соответствии с классификацией Исследовательской компании USwitch, среди стран Евросоюза качество жизни наилучшим выглядит во Франции, Испании, Дании, Германии и... Польше).

Конечно, как только на горизонте замаячит кризис или перспектива конфликта, эксперты склонны пересматривать свои оценки. Они тогда доказывают, что все-таки лучше быть гражданином великой державы. Гражданин малого государства чувствует, что его безопасность не гарантирована и что будущее невозможно предвидеть. Так, в частности, воспринимался опыт исландцев, переживших кризис 2008–2010 годов.

Финансово-экономический кризис должен был выявить неспособность малых государств самостоятельно защититься от последствий мировой бури. Но произошло иначе: кризис миновал, а рейтинги уровня и качества жизни не были опрокинуты. То же и в плане безопасности: малые и даже изолированные государства сегодня не столь беззащитны, как когда-то. В прошлом экспансия сверхдержав вела к их неизбежной зависимости, если не уничтожению (если их независимое существование не было важным элементом равновесия между сверхдержавами).

Понятие «новый международный порядок», пущенное в оборот в начале девяностых, должно было дать гарантию безопасности прежде всего малым государствам. Иллюстрацией применения этой концепции было совместное вооруженное выступление в защиту территориальной целостности Кувейта. Когда в 1990 году Саддам Хуссейн занял Кувейт и присоединил его к Ираку, он совершил нечто такое, что было в порядке вещей в Европе еще в первой половине XX века. То, что на защиту Кувейта встали более десяти стран, не связанных с ним никакими союзническими

узами и политическими обязательствами, было хрестоматийным применением принципа коллективной безопасности. Пример, конечно, был исключительный, и подтекст читался четко: нефть, нефть и еще раз нефть. Не многие из малых государств могли бы рассчитывать на такую же реакцию вооруженной солидарности международного сообщества, если бы их территориальная целостность и суверенитет подверглись аналогичному испытанию.

Но даже те ситуации, в которых малые государства могут испытывать дефицит безопасности ввиду слабости своего оборонного потенциала, невозможно сравнить с практикой минувших веков. И лишенные роскоши союзнических гарантий малые государства могут сегодня рассчитывать на значительно большую безопасность, чем даже несколько лет тому назад.

\* \* \*

Еще одна польская традиция — приверженность к историко-софским конструкциям.

Международная политика — это континуум, непрерывное пространство. Даже на руинах мировых войн и развалинах империй международные отношения строились не с нуля. Всегда в игру вступали какие-то моменты прошлого, с которыми необходимо было считаться. Глобализация же взвинтила темп происходящих в мире событий. Несмотря на отсутствие явных эпохальных вех, политика перестала быть всего лишь дописыванием продолжения логики истории.

Темп изменений может дезориентировать наблюдателя относительно их смысла. Естественная реакция на такую дезориентацию — искать лекарство от нее в историческом опыте, еще раз перелистать учебник истории. Политическая психика требует «подпорки» в виде истории. Но карта, которая никогда не станет компасом, — это максимум, чем может стать для нас история на пути к будущему. Поиск в исторической памяти ключа для решения проблем текущей политики может оказаться пустой тратой времени и сил. Как

знать, может, с «конвергенционным сближением» как раз грядет эпоха без «вечных» врагов и без друзей «навек».

Из этого вовсе не следует, что историческая память теряет свою значимость. В упрощенном, сентиментальном, стереотипном виде историческое наследие продолжает формировать вместе с другими факторами облик государства. Им нельзя пренебрегать. Историческая политика, как бы ее ни понимали, является частью политики, создающей образы. Но одно дело — образ и совсем другое — реальные интересы.

Нет смысла оспаривать классические формулы, гласящие: «Кто контролирует прошлое, тот контролирует будущее, а тот, кто контролирует настоящее, тот всевластен над прошлым»\*. Они могут быть истинными, но становятся все менее полезными.

Радикальное изменение международной среды подталкивает многих экспертов выдвинуть тезис о начале нового цикла исторического развития. А если не цикла, то по крайней мере качественно новой фазы. Во всяком случае говорится о наступлении эпохи нового средневековья (превосходство Востока, рассредоточение политической мощи в мире, как в эпоху европейского Средневековья). Разнообразные теории, придающие истории облик циклов или синусоид, в наше время могут все сильнее разочаровывать. Построения И. Валлерстайна или Дж. Модельски повисают в воздухе.

Сразу на ум приходят ассоциации с законами физики. Теории мировых циклов все больше начинают походить на попытки измерить, зафиксировать явления, происходящие в границах скорости света, в соответствии с законами Ньютоновой механики. Возможно, сегодняшние исторические процессы нельзя сравнить со столь головокружительными скоростями, но для них нужны — пусть это чувству-

---

\* Цитата из «1984» Дж. Оруэлла. — *Прим. ред.*

ется лишь интуитивно — новые инструменты измерения. Адекватная интерпретация истории международных отношений может вскоре потребовать методологии, которую образно можно сравнить с принципами квантовой теории. Может статься, историю творят не только факты, которые реально имели место, но и те, которые в принципе могли иметь место<sup>11</sup>.

То, что мир не стоит на месте, а история не знает конца, — трюизмы. В качестве основного аргумента этого используется дежурная тема технического прогресса. Техника, изобретения, научные открытия сказываются на формах жизни общества. А вся цепочка причинно-следственных связей приводит к трансформации институтов, общественных систем, а также форм международной жизни. Но истинный двигатель трансформации политики — простые люди. И в этом смысле содержание политики достаточно простое: люди хотят жить лучше, легче, дольше, интереснее. Они не прекратят изменять мир в этом направлении, причем не осознавая до конца смысла изменений. Изменяющийся мир меняет и ментальность людей, а под действием этих изменений раньше или позже должны преобразоваться и структуры, и институты, и процедуры. Даже самый лучший план, самое лучшее мировоззрение останутся тщетными, если они не вписываются в порой стихийные и неосознанные действия людей.

Меняются не только параметры пространства (закат геополитики), меняются и параметры времени.

Меняется сущность взаимодействий, составляющих ткань международных отношений. В политике все сильнее дают о себе знать эмоции общества, национальные представления, ментальные ориентации. В то же время ускорение глобализации вызвало размывание старых национальных стереотипов. Все труднее становится понять политику государства, а тем более его внешнюю политику, без досконального изучения того общества, которое за ней стоит. В свою очередь, легче описать общество, чем понять, как

отражается состояние его ментальности на формировании внешней политики государства.

\* \* \*

Структура книги отражает три аспекта изменений, происходящих в международной политике: роль географического фактора, значение политико-психологического фактора в международных отношениях и наконец — роль исторического компонента. Наша цель — взглянуть с более отстраненной перспективы на политическую практику, помочь освежить взгляд, найти такие стимулы, которые смогли бы придать политике более глубокое измерение. Эти страницы, вышедшие из-под пера практика<sup>12</sup>, не претендуют на открытие новых теоретических перспектив и когнитивных схем, но есть надежда, что они послужат их созданию.

# I. «Межэпоха» и кошмары геополитики\*

## 1. Кризис, мировой порядок и геополитика

Финансово-экономический кризис, потрясший мир в 2008–2010 годах, дал толчок новому взгляду на структуру международных отношений и на то, какими они должны быть.

Невозможно охватить взглядом весь мир, если смотреть на него из одной-единственной точки. Прежде, сразу после окончания холодной войны, в ходу была перспектива Запада. Мир выглядел так, как его состояние виделось в Вашингтоне, Лондоне, Париже. Сегодня западный взгляд уже не может объяснить всего. Мир, как его видят в отдаленных уголках Азии и Африки, во многом другой мир. Но для нас главной здесь будет западная перспектива. Ее можно охарактеризовать в нескольких чертах.

Во-первых, это время приоритета экономики. На первый план в международной повестке дня, в особенности европейской, вышел экономический кризис. И такое положение будет сохраняться еще долго. Даже если предположить, что мир действительно вступил в фазу выхода из кризиса, то бюджетные напряжения во многих странах Запада приведут к тому, что в политическом измерении выход из кризиса еще продолжится, и прежде всего в Европе. Это проблема госдолга, торговый дисбаланс, социальные вопросы — высокий уровень безработицы, рост цен на продовольствие, все, что во многих

---

\* Данная глава представляет собой расширенный вариант статьи *Międzynaroka i miazmaty geopolityki*, опубликованной в *Polski Przegląd Dyplomatyczny* 2010, nr 5–6. — Прим. авт.

странах грозит социальным взрывом. У набирающих силу гигантов Азии, и особенно у Китая, нет проблем, связанных с рецессией. Тем не менее и они вынуждены считаться с инфляционным давлением, проблемами платежного баланса, а в международном плане — с растущими трудностями приведения в состояние равновесия торговых и платежных балансов. Неслучайно все эти вопросы преобладали в контактах руководителей стран на стыке 2010 и 2011 годов, когда их считали основной экономической угрозой в мире. Для европейской политики, естественно, нет более важной проблемы, чем преодоление кризиса. Все остальные рассматриваются в качестве вторичных, а их решение оценивается с точки зрения эффективности в борьбе с кризисом. Любой кризис укрепляет позиции сильных, особенно в плане экономического потенциала и экономического здоровья.

Финансовый кризис 2008–2010 годов — это нечто большее, чем просто издержки в ходе развития. Это первый серьезный симптом трудностей глобализации. Не настолько, чтобы говорить о ее отступлении, но наверняка настолько, чтобы перестать считать ее процессом, который сам себя стимулирует.

Во-вторых, это время неевропейского мира. Центр мировой политики уже давно переместился за границы Европы. Мир живет неевропейскими проблемами и решает их с все меньшим участием Европы. Для глобальных игроков важные европейские проблемы (например, Босния и Герцеговина, Молдавия, Косово, Грузия) представляются второстепенными (локальными) проблемами. Самым важным стратегическим вопросом мировой политики останется режим нераспространения ядерных технологий (особенно иранская программа, в том числе в связи с ситуацией на Ближнем Востоке во всем ее многообразии). Последним по времени вызовом стал тренд политических перемен после народных революций в арабских странах. Чем глубже экономический кризис и напряженнее проблема распространения ядерного оружия, тем, естественно, значимее императив сотрудничества в

системе США–Китай–ЕС–Россия. Поле для самостоятельной политики таких государств, как Польша, расширяется, если эта политика не противоречит общим задачам глобального сотрудничества.

Тезис об эпохе неевропейского мира, разумеется, имеет гораздо более важное измерение. Для многих экспертов он означает не только сдвиг в системе акцентов в мировой политике, но и принципиальное изменение их конфигурации. Подходит к завершению длящийся без малого пять столетий период мирового господства Запада. А это предвещает чуть ли не тектонические изменения, тем более что связываются они с утратой Западом права быть цивилизационным авторитетом. Финансовый кризис нанес удар по репутации Запада как центра цивилизационной компетентности; это также и удар по моральному лидерству Запада (как лишенной угрызений совести «цивилизации погони за прибылью»).

В-третьих, это дрейф структур управления миром. Финансово-экономический кризис должен был стать катализатором перестройки международных институтов. В свое время Жан Монне сказал, что «облик Европы родится в кризисах и станет суммой тех решений, которые будут приняты для разрешения этих кризисов». Действительно, ничто так не стимулирует деятельность, как осознание кризиса. Однако настали такие времена, что даже кризис потерял мобилизирующую силу. В мире он привел лишь к образованию G20 (впрочем, с функцией скорее статусной, а не принятия решений), к косметической реформе Всемирного банка и Международного валютного фонда. До сих пор, по сути, не решен вопрос политических структур, в том числе и Совета Безопасности ООН. В Европе времен кризиса появлялись политические комментарии о доминировании Германии, об ослаблении роли Еврокомиссии в управлении Евросоюзом, о доминировании «узкого круга» акторов в рамках ЕС, о ренационализации политики крупных государств. Во времена кризиса эффективность становится важнее процедур, национальный атавизм берет верх над кол-

лективным разумом. Тем не менее все указывает на то, что культура европейской политики в состоянии взять верх над атавистическими импульсами.

В-четвертых, это отсрочка стратегических решений. За последние несколько лет главной стратегией, особенно для основных европейских игроков, стала отсрочка принятия решений по существу с далеко идущими последствиями, перенос их по крайней мере на «послекризисный» период. Это касается таких стратегических вопросов, как членство Турции в ЕС или место в нем Украины. Все остается потенциально возможным, но не как результат спланированных действий, а как следствие неконтролируемого стечения обстоятельств и случайного развития событий, которое потребует приспособливаться к ситуации.

В-пятых, несомненно, самым черным сценарием для мира станет глобальная конфронтация между США и Китаем. Многие эксперты считают, что Китай уже много лет снижает планку международных отношений, сдерживая продвижение демократии и утверждение прав человека в мире. Тем не менее попытки свести Китай к роли нового СССР как полюса конфронтации с Западом представляются преждевременными и малоубедительными. Худшим из вариантов было бы поддаться логике исполняющегося пророчества, что не мешает того факта, что любой серьезный разговор о международной политике должен начинаться с вопроса о Китае.

Находимся ли мы на пороге очередной глобальной конфронтации? Этот вопрос имеет значение и для Польши, даже если на этот раз линия конфронтации не будет проходить через Европу.

В итоге кризис не сдержал глобализацию, не ввел чего-то качественно нового и не отбросил мир назад к ничем не сдерживаемой политике силы. Но он, несомненно, усилил роль сверхдержав и крупных государств — и в Европе, и во всем мире.

Как бы ни анализировались тренды в мировой политике, будущее мира нелегко предвидеть. Такое положение дел

естественным образом подталкивает к спекуляциям. Спекуляции же выводят картину будущего из ранее существовавших образцов, которые по большей части возникали под влиянием геополитики. Существом международной политики всегда была игра интересов, в которой решающая роль принадлежала мощи государства. Поэтому будущее мира чаще всего представляют как картину политических карт и количественные показатели мощи государств.

Геополитика определяла подходы к политике в мире на протяжении всего XX века. В свое время она была триумфом военно-штабной мысли. Она подчиняла политическую фантазию власти географических карт. И не без основания. Геополитика в ее традиционном определении исследует влияние географических факторов на политику государств. Связь географии с историей и политикой бесспорна. В детерминистском своем варианте она связывает судьбу народов и политику государств с географией. В современном же своем облике геополитика предстает как пространственный фон для конфликтов интересов государств и соперничества между ними.

Золотым веком геополитики стало начало XX столетия, когда сформировались мировые империи и процесс колонизации мира был, в сущности, завершен. Земля перестала быть ничьей. Расширение империй могло осуществляться только за счет территорий, которые находились под контролем соперников. Первая мировая война стала продуктом геополитики (историческим памятником геополитики было само понятие центральных держав). Война разразилась потому, что политические решения стали заложниками военно-штабного мышления. И, в соответствии с геополитической логикой, Вторая мировая война должна была стать завершением Первой мировой.

Холодная война, несмотря на то что ее подталкивало столкновение идеологий, имела глубокие геополитические корни. Многие рассматривали ее в качестве окончательного подтверждения геополитическим концептом английского

ученого Х. Маккиндера. В соответствии с этим концептом СССР, господствуя над Восточной Европой, мог установить свое господство над всем Хартлендом\*: кто правит Хартлендом, тот господствует над Мировым островом\*\*, а кто правит Мировым островом, господствует над миром. Таким образом, судьбы мира должны были решаться в Восточной Европе, через нее должна была пройти линия конфронтации между системами. Что же касается конфликтов между системами в Азии или в Африке, то они должны были иметь лишь периферийный характер.

Однако в ходе холодной войны привлекательность геополитики в ее классическом виде поблекла. Из обихода ее вытесняла более сублимированная форма — геостратегия. Она означала полное и планомерное применение пространственных аспектов мощи государства с целью реализации определенных военно-политических интересов. На практике она сводилась к определению способов контроля стратегически важных территорий, торговых путей, морского пространства как политическими методами (союзы), так и военными (военное присутствие, средства применения военной силы).

После холодной войны мир еще надеялся стать однородным и быть устроенным на принципах либеральной демократии и рыночной экономики. Эта перспектива должна была ввести импульсы соперничества в цивилизованное русло. Поэтому конец холодной войны ознаменовался высвобождением изрядного идеализма, который, впрочем, довольно быстро иссяк, прежде всего под влиянием многочисленных региональных конфликтов и приостановки про-

---

\* Хартленд (англ. heartland) — сердцевиная, срединная земля; геополитический термин для обозначения огромной северо-восточной части Евразии, контролю над которой Х. Маккиндер придавал ключевую роль. Это пространство приблизительно совпадало с территорией Российской империи и СССР. — *Прим. ред.*

\*\* Территория, охватывающая Евразию и Африку, кроме ее южной части. — *Прим. ред.*

цесса демократизации в мире. От геополитики освободиться не удалось. На мир по-прежнему продолжали смотреть как на глобальную шахматную доску, где главным остается контроль над стратегическими полями и возможность их изменения. Но после холодной войны в мире высвободился дремавший годами потенциал глобализационных процессов. Именно они сыграли решающую роль в ускорении смены глобальной повестки дня, но прежде всего — изменили существовавшие географические понятия и логику исторических трендов.

Ментальным наследством геополитики и геостратегии до сих пор является склонность рассматривать международные отношения главным образом в категориях соперничества и в особенности в категориях территориальных влияний. Геополитические привычки переживают время. Имели место попытки заменить деление мира на Восток и Запад делением по принципу Север–Юг. Однако в географическом отношении Северу трудно дать точное определение, да и Юг никак не желает представлять однородной массой, но такое определение существует на полных правах в политическом дискурсе. Разделения в мире имеют гораздо более сложный характер. Достаточно взглянуть на то, сколь глубоки разногласия между развивающимися странами по вопросу хотя бы реформы Совета Безопасности ООН. Большинство войн и внутренних конфликтов происходит в незападных странах, как правило, самых бедных. Так называемый Юг не является теперь и не станет монолитным, пусть даже входящие в него страны объединяет колониальное прошлое и риторика в отношении компенсации за это прошлое.

Еще совсем недавно недоразвитость многих государств Юга пытались объяснить стечением географических обстоятельств. Утверждалось, что страны, находящиеся вдали от главных транспортных путей, особенно морских, отличающиеся тяжелым климатом, например тропическим (болезни) или слишком засушливым (неурожаи), в результате обречены на отставание<sup>1</sup>. Опыт показывает, что и тяжелые климатиче-

ские условия — не преграда. Барьером же на пути развития в странах Юга была прежде всего слабость экономических институтов, правовой системы и общемировые условия для развития, а климат — в последнюю очередь. Примеры двух Корей, как и двух германских государств, свидетельствуют о возможности асимметричного развития. А опыт таких стран, как Ботсвана, показывает, что даже в тяжелом климате и вдали от торговых артерий можно умело управлять хозяйством. Ключом здесь являются институты<sup>2</sup>.

Описывая мир, мы начинаем, как правило, с картографической информации. К концу XX века в литературе закрепилось понятие «полумесяца нестабильности», протянувшегося от Северной Африки через Ближний Восток до Пакистана. Однако это понятие скорее обозначало локализацию проблем, чем объясняло их, предоставляло пространство для фантазии. Введение в 2010 году термина «периферийные государства» для обозначения группы стран зоны евро, которые в тот момент испытывали проблемы с обслуживанием долга (Греция, Португалия, Ирландия), ярко продемонстрировало силу геополитики. Все выглядело так, будто состояние их экономик было следствием их географического положения.

Однако геополитику с все большим основанием можно считать традицией, а не эффективным методом анализа.

\* \* \*

Для многих она продолжает оставаться лучшим способом объяснения мира. Американский политолог Джордж Фридман, известный в экспертной среде своими работами в основанном им в 1996 году аналитическом центре «Стретфор», которым он руководит до сих пор, видимо, хотел выстроить для геополитики высокий дворец на годы вперед. Впрочем, без особого успеха. Ибо в результате получилась мертвая пирамида, курган, который в состоянии лишь дать понять, насколько геополитика в ее высшем выражении, в ее последней редакции не поспевает за действительностью. В 2009 году не только на прилавках поль-

ских книжных магазинов, но даже во всеядных книжных отделах в супермаркетах появилась книга с прогнозом Фридмана на текущее столетие<sup>3</sup>.

Его следует привести, ибо трудно найти более подходящий пример того, насколько геополитика исчерпала самоё себя. Согласно прогнозу Фридмана, «XXI век станет чередой конфронтаций с участием не самых крупных стран, рассчитывающих на создание коалиции для сдерживания американской гегемонии, и Соединенных Штатов, проводящих военные операции с целью подорвать эту коалицию. В XXI веке разразится больше войн, чем в веке XX, но они не будут столь катастрофичными, как по технологическим причинам, так и из-за характера геополитических проблем»<sup>4</sup>.

Довольно было показать, что одной из держав, победно выбравшихся из военной заварухи, станет Польша, чтобы над Вислой в движение пришла машина спроса, чтобы в газетах и на телевидении начали с придыханием рецензировать нечто такое, что можно назвать лишь тупиком геополитического мышления.

Автор широкими мазками рисует векторы конфликтов и экспансий, передвигает на карте границы влияний и господства, предрекает наступление хаоса. А «в основе всего будет лежать наиболее существенный для XXI столетия фактор: конец демографического взрыва»<sup>5</sup>, утверждает автор. Он не в состоянии вообразить ни стабилизации демографических трендов в глобальном масштабе, ни относительного снижения роли демографического фактора в экономических процессах. Поэтому у него с неизбежностью «демографический спад приведет к нехватке рабочей силы в промышленно развитых странах [...]. Правительства пойдут даже на то, что станут платить иностранцам, чтобы стимулировать их иммиграцию»<sup>6</sup>.

Демографический вызов — несомненная проблема даже в случае исправной работы глобальных механизмов саморегулирования главных мировых процессов. Основной же вопрос таков: может ли решением проблемы стать воору-

женный конфликт, причем не один, а, в соответствии с какой-то слепой логикой, их нескончаемая серия?

Геополитическая библия Фридмана исходит из двух посылок. Первая: противоречия интересов и конфликты между народами неизбежно приводят к войне, а потому не может быть иного, отличного от военного, способа решения конфликтов, тем более что технологический прогресс ведет к снижению издержек ведения войны до социально приемлемого уровня. Вторая: «Как национальный характер, так и отношения между народами в значительной степени определяются географией»<sup>7</sup>. Источник обеих посылок, похоже, сосредоточен в Соединенных Штатах, что автор отражает в тезисе, что «Америка родилась из войны и сражается по сей день»<sup>8</sup>, поскольку «единственная сфера, которая не подвержена циклическим изменениям — человеческая природа»<sup>9</sup>.

Оба эти положения легко опровергнуть, что не раз уже случалось.

Фридмана, похоже, совсем не интересует изучение истории других народов, которые на пути своего исторического становления прошли через интересные изменения ментальности и дали примеры радикальной смены курса своей политики. Исследователи европейской политики в XVII и начале XVIII века, несомненно, назвали бы шведов самым агрессивным, воинственным и даже порой жестоким (смотри описания тридцатилетней войны) европейским народом. Поражение под Полтавой в 1709 году стало для них шоком, из которого они сумели сделать вполне разумные выводы. Они стали придерживаться политики невмешательства, избавления от всего, что не является шведским, а в условиях последовательного нейтралитета обеспечили себе невероятно длительный — по европейским меркам — мир. Не изменяя географического положения, климата, соседей, они радикально изменили свою политику.

Мир XXI века, по мнению Фридмана, станет очередной исторической картиной, закодированной на политических

картах. Автор, как в большой компьютерной игре, передвигает фишки, войска и границы, ставит флажки. И ничего о цене всего этого, ни о судьбах людей, ни о судьбе экономики...

Русские начнут. Поляки отреагируют. Немцы их не поддержат. Но Россия все же потерпит неудачу. Польша оккупирует Минск и весь регион. Но ей будет мало. Ей будет нужна Риека (она же Фиуме) — выход к теплым морям. И тогда она столкнется с турками. Польшу и Турцию к войне друг против друга спровоцирует Япония. И большая война, которая вспыхнет 4 ноября 2050 года, подставит Польшу под одновременный удар со стороны Германии и Турции. Тем не менее Польша (в коалиции с США, Великобританией и Китаем) отразит и разгромит агрессоров. А «покорение Польшей Франции и Германии решительно изменит соотношение сил в Европе»<sup>10</sup>.

Вся описанная Фридманом мясорубка войн должна произойти исключительно потому, что международная общественность будет не в состоянии справиться с проблемой падения прироста населения. Трудно представить себе, как череда войн, которые не бывают без жертв, могла бы способствовать ее решению. Впрочем, для автора подтекст войн скорее идеология, чем политика. Потому что это будут войны не за людей (рабочие руки, рабочую силу), а за модель семьи<sup>11</sup>.

Положительная сторона всей этой всемирной кутерьмы для Польши — окончательное освобождение от навязчивой геополитической идеи о русско-немецких тисках. А что сделаешь, если люди не видят других, более политических методов лечения нас, поляков, от невротической болезни уже теперь, в наше время, не дожидаясь для этого середины XXI века.

## 2. Геополитические кошмары Европы

Осью мировой геополитики — не только в ее классической маккиндеровской трактовке — до сих пор в основном была Европа, потому что и вся мировая политика сосредоточива-

лась на Европе. Как расцвет Европы, так и ее возможный упадок обосновывали геополитикой.

Существует множество теорий, объясняющих причины цивилизационного успеха Европы. Самая геополитичная из них принадлежит перу американского историка Пола Кеннеди, который считает, что причиной «европейского чуда» была политическая раздробленность Европы на пороге Нового времени (более того, даже во времена Римской империи Европа не была чем-то вполне единым). У этой раздробленности Европы были свои источники в географических условиях — в отсутствии широких равнин, в густой сети рек, в множестве горных цепей, изолированных долин и затрудняющих сообщение густых лесных массивов. В Европе, как мало на какой-либо другой территории, распространение политического контроля было трудным и дорогостоящим занятием. Разнообразный рельеф не способствовал централизации власти, что позволило сохранить национально-культурное многообразие. Многообразие же климатических зон, в свою очередь, способствовало диверсификации экономики, которая требовала развития транспортной сети, торгового обмена и стала источником благосостояния.

Политическая раздробленность, в свою очередь, вела к соперничеству, которое порождало конфликты. Вооруженные конфликты давали толчок гонке вооружений, то есть финансово-организационно-технологическому прогрессу, так как быстро стало очевидным, что способность концентрировать качественные ресурсы — ключ к победе. Короче говоря: ключом к цивилизационному успеху Европы были войны<sup>12</sup>, а западная цивилизация — это цивилизация войны.

Сегодня термин «цивилизация войны» смело можно назвать оксюмороном. Европейская интеграция опирается на убеждение, что цивилизационное развитие должно быть устремлено к отказу от войны и насилия как способа решения споров. «Постмодернистская», мирно решающая споры Европа, таким образом, является отрицанием своих собст-

венных корней, если согласиться с тем, как их представил Кеннеди.

Поэтому европейская «цивилизация войны» в логическом развитии пришла к этапу, когда прогресс и благосостояние уничтожаются войнами, а последствия конфликта оказываются плачевными даже для победителей. Первая мировая война перебила хребет победительнице — Франции. Вторая — вырыла могилу Британской империи, отбросила Европу в плане ее влияния на многие годы назад, отдала ее в руки двух внешних по отношению к ней держав — Америки и России.

Европа рассталась с войнами, и сегодня она считается чем-то вроде символа пацифистской ментальности (будто она родом с Венеры, а Америка — с Марса<sup>13</sup>).

Малоконструктивная теория, выводящая «европейское чудо» из конфликтов и войн, тем не менее может настойчиво искать подтверждение в современном уровне европейского влияния на мир. Отказавшись от традиции войн, Европа отошла на задний план мировой политики. Ее влияние год от года слабеет. Не сдержала этот процесс и концепция «мягкой силы». Не принесла удовлетворения и идея Европы как образца постмодернизма. Европе все труднее бороться за право голоса в мире. Трудность проистекает, разумеется, из того, что она редко обращается к миру с общеевропейских позиций. Но даже если это все-таки общий голос, звучит он порой так невнятно, что ничего удивительного, что его не слышат. Кроме того, в мире растет убежденность, что в мировых организациях слишком много европейских представителей. Так, например, реформа МВФ состояла прежде всего в сокращении европейского представительства в процессе принятия решений. И здесь следует обратить особое внимание на позицию Америки. С одной стороны, она призывает Европу активнее участвовать в мировых процессах, особенно когда речь идет о военных акциях, с другой стороны, американцы выступают в защиту пожеланий стран Юга о сокращении занимаемых ныне

европейскими странами мест в международных организациях, влияющих на принятие решений. Во время дискуссии о реформе СБ ООН в 2004–2005 годах американцы изо всех сил поддерживали притязания Японии на место постоянного представителя в Совете (сегодня президент Обама с таким же энтузиазмом поддерживает Индию), но уклонились от прямой поддержки кандидатуры Германии.

Мерой истинности теории является ее пригодность для прогнозирования будущего, но представленный П. Кеннеди анализ краха империй, в котором за два года до распада СССР не просматривалось признаков приближающегося конца советской империи, несомненно, ослабляет и его тезисы о прошлом. Слаба та теория, которая при попытке объяснить прошлое совершенно неспособна предсказать будущее. Во всяком случае вывод автора о том, что геополитика через войны вывела Европу на передовые позиции, не вполне убедителен.

В привлечении геополитики для объяснения тайн развития цивилизации Кеннеди не одинок. По его стопам пошел, в частности, историк из Стэнфорда Йен Моррис<sup>14</sup>. Он исходит из того, что цивилизационное господство Запада не было исторически предопределено и что дано оно не навсегда. Судьбы мира, считает он, детерминированы географией и представляют равнодействующую индивидуальных усилий простых людей, которые должны как-то противостоять климатическим изменениям, голоду, миграции, болезням и крушению государств (пять всадников Апокалипсиса, определяющих участь человечества). Но без давления нет и перемен. Изменения, в свою очередь, являются результатом деятельности «ленивых, жадных, испуганных людей, которые ищут более легкие, более доходные и безопасные способы жизни. При этом люди редко до конца понимают, что они на самом деле делают» (аксиома Морриса). Поэтому Моррис исповедует принцип, что судьбу определяют «географические карты, а не люди» (maps, not chaps), поскольку речь идет не столько о людях, сколько о менталь-

ности общества, хоть и избегает объяснять европейский успех фактором войн. Однако интересно, что, предсказывая будущее, он предрекает конец геополитическим переделам. В перспективе ближайших ста лет прогресс в информатике и биоинженерии приведет к такому радикальному изменению человеческой цивилизации, что цивилизационно-географические деления, особенно деление на Восток и Запад, станут постыдным анахронизмом.

Поэтому если геополитика в состоянии разобраться с прошлым Европы, то с объяснением будущего у нее проблемы.

Тем не менее геополитическая вивисекция Европы возвращается при каждом более или менее серьезном кризисе. Греческий бюджетный коллапс 2010 года вызвал многочисленные спекуляции, что, дескать, дело в чем-то большем, чем легкомысленная финансовая политика. Это была понятная реакция. Людям присуща склонность к необоснованно расширительному поиску причин кризисов.

Поэтому греческий кризис должен дать понять, что в Евросоюзе существует глубокая геополитическая трещина. Кризис доказывает, считает Роберт Каплан, что даже столь амбициозный по своему объединительному потенциалу проект, как Европейский союз, не в состоянии упразднить географию как силу судьбы<sup>15</sup>.

К Греции добавили Португалию, Италию и Испанию в качестве стран «особого внимания» (так называемая группа PIGS\*) и попытались создать миф средиземноморского синдрома, подпитываемого исторически-геополитической обусловленностью. Европа в этой трактовке делится на предприимчивый, предусмотрительный и благоразумный Север и этатистский и автократический Юг. Деление

---

\* Аббревиатура, введенная журналистами и финансовыми аналитиками. Состоит из первых букв названий входящих в проблемную группу стран. Также означает в англ. языке «свиньи». — *Прим. ред.*

Европы на Север и Юг имеет трехсотлетнюю традицию. На Севере, мол, живут упорные, трудолюбивые и лишенные идеализма люди. На Юге — легкомысленные и счастливые, проявляющие больше интереса к приятному досугу, чем к труду. А причиной всему климат. Но, как замечает Дэвид Лэндис, «такие стереотипы содержат зерно правды и горы умственной лени»<sup>16</sup>.

Трудно найти более яркое доказательство инертности геополитического мышления, чем попытка углядеть в финансово-бюджетных трудностях отражение географического положения, особенностей ландшафта, плодородия почвы, наличия выхода к морю. И это в эпоху, когда темпы экономического развития некоторых государств потеряли связь с геополитической детерминантой. В основе деления Европы на Север и Юг находится геополитическая регионализация (средиземноморский макрорегион), хотя исторически это деление никогда существенным образом не проявляло себя в политических отношениях на континенте.

Если в политическом отношении Европа и была разделена, то разлом проходил (еще с римских времен) скорее по линии Восток–Запад. В греческом финансовом кризисе этот раздел был снова воскрешен: кризис заставил Грецию осознать неизбежность культурного и цивилизационного возвращения к балканскому Востоку, из которого после Второй мировой войны ей удалось вырваться, счастливо избежав советского коммунистического господства.

Историко-географическая гипотеза должна проявляться также в прогрессирующей диверсификации развития бывшей Восточной Европы вдоль линии разделения между прусско-габсбургскими влияниями, с одной стороны, и оттоманско-византийским наследием — с другой. А поскольку самой важной скрепой Европы является транспортный путь по Рейну и Дунаю, самая большая ответственность за сплочение Европы ложится на Германию. Таким

образом, геополитику впрягли в сознание Берлина, чтобы он спасал греческие финансы. Логику и точность европейских геополитических разделов несколько портит тот факт, что финансовый кризис накрыл также «северную» и одновременно «западную» Венгрию и что еще более трудную ситуацию переживала в 2010 году «северная» Ирландия. Примеры можно множить.

\* \* \*

Считается, что старую европейскую геополитику похоронил Евросоюз. Первоначальным импульсом к европейской интеграции стало упорное желание предотвратить конфликты в Европе. Интеграция строилась на основе счастливой логики, невзирая на религиозные, культурные, языковые и исторические различия (или же вопреки им). А преодоленный 1 мая 2004 года Евросоюзом рубеж\* стал еще одним гвоздем, забитым в крышку гроба европейской геополитики. Разумеется, мы можем рассуждать, приобрел ли этот процесс необратимый характер. Каждый кризис, а нынешний в особенности, заставляет с большой осторожностью относиться к необратимости. Кризис пробуждает национальный эгоизм, а там, где появляется национальный эгоизм, там есть место для геополитического мышления. Европа не исключение в этом отношении. Нечто абсолютно невообразимое — крах евро и развал Евросоюза как его логическое следствие — стало вполне мыслимым.

Казалось, что глобализация исключила возможность черного для Европы сценария. Однако по мере ее развития движущая сила европейской интеграции вышла за границы Европы. Главным фактором стимулирования прогресса европейской интеграции стали глобализационные вызовы

---

\* 1.05.2004 г. произошло самое крупное расширение ЕС на восток. В Союз были приняты Венгрия, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, Польша, Словакия, Словения, Чехия, Эстония. — *Прим. ред.*

— от потепления климата и миграции до терроризма. Однако в основе глобализации лежит парадокс: чем более интернационализирует она экономическую политику и снижает степень суверенности, тем сильнее становится давление общества, направленное на создание национальных гарантий от неконтролируемого распространения проблем в лишенном границ глобализованном мире. Чем глубже кризис, тем сильнее это давление. Вряд ли найдется такое правительство, которое в преддверии выборов не уступит общественному давлению. Но используя национальную риторику, любой солидный политик (во всяком случае их большинство) понимает, во что обойдется европейским странам ренационализация политики. Так что Европа всегда возьмет верх, что, впрочем, не значит, что в ходе интеграции какой-нибудь участник не отпадет от процесса или что сам процесс слегка не замедлится. Так или иначе, в Европе стало невозможным возвращение к геополитическим механизмам руководства и влияния.

Географическая карта, а не люди, твердят сторонники геополитики. Но не везде и не всегда. И тут стоит привести пример шведов, чтобы проследить зависимость национальной ментальности от внешних, в том числе географических, условий. Шведы оказываются прекрасным примером силы национального характера, которая делает влияние политики и государственного устройства вторичным и незначительным. Было проведено сравнение уровня жизни шведов, живущих на родине, с уровнем жизни шведов в Соединенных Штатах на протяжении ста лет<sup>17</sup>. И оказалось, что только 6,7% американцев шведского происхождения живут бедно. Доля шведов-бедняков, живущих у себя на родине, подсчитанная по той же методике, составила те же 6,7%. Несмотря на то что две обследованные группы жили в совершенно различных условиях — географических, исторических, политических, экономических, способность к созиданию благополучия — устойчивая, закодированная в национальном характере черта.

Аналогичные наблюдения относятся к состоянию здоровья и долголетию. Шестьдесят лет назад шведы жили на 2,6 года дольше американцев. Сегодня, несмотря на разную социальную политику в двух государствах, в том числе и в корне различающиеся системы здравоохранения, шведы живут на... 2,7 года дольше, чем американцы.

На этих наблюдениях основывается вывод: политический выбор имеет второстепенное значение, а решающую роль играют национальная идентичность, культурные особенности, характер семейных и других социальных связей, трудовая этика.

В соответствии с этим мнением, пропасть в экономике и благосостоянии, которая стала разделять ФРГ и ГДР с каждым годом политического раздела, имела своим источником не те различия, которые диктовала специфика строя, а различия ментальности у немцев восточной и западной частей Германии. (Заметьте, что сравнительные исследования средней продолжительности жизни в ФРГ и ГДР показали, что в середине 60-х годов примерное равновесие в этом отношении стало меняться в пользу ГДР, что было связано с более качественной системой здравоохранения, снижением младенческой смертности, но с середины 70-х годов обозначилось превосходство ФРГ над ГДР, которое затем стало расти)<sup>18</sup>. И трудности, возникшие после объединения Германии, проблемы различия между ее восточной и западной частями, не являются следствием исключительно масштабов того ущерба, какой нанес Восточной Германии социализм.

Мало кого такая логика в состоянии убедить. Она неуклонно вела бы к стереотипизации восприятия отдельных национальных черт, даже к еще более шокирующим в политическом плане выводам, которые вступали бы в конфликт с тем, что мы наблюдаем сегодня. Глобализация может изменять облик народов: одних в большей мере, других — в меньшей, но в любом случае так, что все более и более будут меняться наши традиционные представления о них.

Когда осенью 2010 года европейский гуманизм сдавал экзамен в отношении проблемы цыган\*, в комментариях было много отрешенной покорности. Говорили, что интеграция цыган — трудная задача, решение которой потребует долгих лет. Тем временем в Соединенных Штатах, при немалой численности популяции цыган, их интеграция не рассматривается как проблема.

### 3. Импульсы польской геополитики

В течение долгого времени геополитика была неотъемлемой чертой польского анализа международной политики. Также и после освобождения из-под геополитического давления социализма, когда страна вступила в эпоху III Речи Посполитой (Республики). Не подлежит сомнению, что двадцать лет назад международное сообщество имело «крайне геостратегический характер»<sup>19</sup>. Это объяснялось присутствием в непосредственной близости от Польши сильных (сильнее Польши) соседей, для которых пространство нашего региона было важно как элемент их широких стратегических планов. В то же время наша страна оказалась на границе двух интеграционных систем (западной и постсоветской). По мнению профессора Р. Кузьняра, результатом сильных разнонаправленных воздействий стало возникновение «перегрузок в политических, экономических и социальных процессах в нашей стране. Символическим и схематическим отражением этой ситуации является представление о Польше как стране между Германией и Россией (Востоком и Западом), Польше, на пространстве которой сталкиваются и противостоят друг другу интересы двух

---

\* Решение президента Франции Н. Саркози депортировать из страны примерно 800 румынских и болгарских цыган, живших в нелегальных лагерях, вызвало резкие протесты и острую полемику в политических и правозащитных кругах ЕС. — *Прим. ред.*

держав. Иногда сотрудничество между ними строится во вред нашей стране»<sup>20</sup>. История представляла — и не только на протяжении последних 200–300 лет — многочисленные примеры того, насколько был велик масштаб давления внешних сил с опустошительными, как правило, последствиями для страны (хотя, если быть честным, не всегда: немецкое цивилизационное воздействие имело и свое мирное и полезное для Польши измерение в Средние века, давая нам, в частности, стимулирующую развитие городскую культуру). Поэтому вполне понятна повышенная чувствительность Польши к геостратегическим аспектам политики. Он стал главной движущей силой наших притязаний на членство в ЕС и в НАТО. Мы обоснованно предостерегали западных политиков перспективой вакуума безопасности в «серой зоне» Центральной Европы, которая в отсутствие привязки к Западу будет неизбежно становиться источником нестабильности.

Однако вступление в ЕС и в НАТО не снизило высокого уровня польской аллергии на кошмар немецко-российских тисков. Поляков очень беспокоила российская политика канцлера Шредера, а поводом для проявления польских опасений стало российско-немецкое сотрудничество в строительстве газопровода по дну Балтийского моря в обход Польши. Чем более интенсивный и сердечный диалог соединяет Берлин и Москву, тем больше в Варшаве опасений относительно того, что Германия и Россия договорятся за спиной (и над головой) Польши. Даже улучшение двусторонних отношений Польши с Германией, а с 2010 года и с Россией не смогло снизить накал эмоций части политического класса, более того, оно спровоцировало подозрения в установлении «германо-российского кондоминиума».

Сохранят ли соседи Польши свою важную геостратегическую роль в будущем? Центральная Европа перестала быть центром мировой геополитики. Она также сильно потеряла в плане ценности для геостратегических интересов США, что стало отражаться на системе политических

приоритетов администрации президента Обамы. Снижение политического интереса к ним со стороны США вызвало беспокойство политиков и экспертов в Центральной и Восточной Европе. Итогом этого беспокойства стало, в частности, открытое письмо интеллектуалов и бывших политиков региона, адресованное администрации Обамы в июле 2009 года. Президент Обама счел необходимым подтвердить обязательства Америки в отношении региона, и в апреле 2010 года встретился с этой целью в Праге с руководителями государств региона. В глобальной стратегии США Центральная и Восточная Европа продолжает сохранять свое место, о чем свидетельствуют планы размещения противоракетных комплексов (сначала в Румынии, потом в Польше) и присутствие здесь американских солдат (Болгария, Румыния). Но регион вовсе не приоритетен для США, и их глобальная политика разыгрывается на других сценах, прежде всего в Азии и на широко понимаемом Ближнем Востоке.

Для Западной Европы геостратегическое значение Восточноевропейского региона состоит в его пограничном статусе: это пространство на стыке Евросоюза (и НАТО) с несоюзными соседями. Для некоторых стран региона это все еще поле для геополитических игр — особенно за место Украины в Европе. Но многие европейские государства смотрят на проблему отношений с Украиной и с Россией не в столь жестких геополитических категориях.

Независимо от изменений в Европе (экспансии ЕС и НАТО на Восток, сближения Европы с Россией) Польша и другие страны региона остаются для геополитиков вроде Дж. Фридмана вечной «окраиной».

Практически три года под эгидой Польской академии наук (и на средства из фондов министерства науки и высшего образования) готовился глубокий анализ состояния безопасности в регионе Центральной и Восточной Европы. Результат, в частности, был разослан МИДом по польским диппредставительствам<sup>21</sup>. Анализ содержит много удачных

наблюдений, особенно относительно ближайшего окружения Польши. Авторы, к сожалению, не устояли перед соблазном набросать собственную геополитическую карту мира. Они поделили мировое пространство на несколько типов территорий. По их мысли, мир состоит прежде всего из «срединной территории», куда входят Объединенная Европа, США, Канада, Япония, Корея, Тайвань (sic!), Австралия, Новая Зеландия и Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Бахрейн (sic!). В другой ареал — «ускоренного развития» — вошли КНР, Индия, Малайзия, Индонезия, Вьетнам, Филиппины, Папуа — Новая Гвинея (но не, например, Бразилия, Таиланд и т.д.). В «пассивную территорию» ушли вся Африка южнее Сахары, Южная и Центральная Америка (без Венесуэлы и части Мексики), но также и Украина (sic!), Средняя Азия и Казахстан, Монголия. «Антагонистическая территория» — это Сирия, Ирак, Иран, частично Афганистан и Пакистан, Куба, Гаити, Доминиканская Республика. Территория «потенциальной угрозы» — это почти весь арабский мир. Что же касается России, Турции, Белоруссии и республик Закавказья, то они считаются понемногу всем (территорией ускоренного развития), но также (особенно это относится к России) — частью «антагонистической территории». Через два-три года после своего появления это описание мира уже перестало поражать воображение. Самое большее, на что оно было способно, — позабавить читателя. Смешение сиюминутной конъюнктуры с долгосрочными тенденциями, проблем личности руководителя с проблемами системы может дать лишь водевильный результат. Трудно себе представить, что такая концепция могла бы стать основой польской политики, не говоря уже о стратегии. К счастью, не стала и никогда наверняка не станет.

\* \* \*

Если синдром окружения Россией и Германией был кошмаром польской геополитики, то ее путеводной звездой была концепция Междуморья (см. ниже. — *Ред.*). Эта кон-

цепция «внезапно появилась [...] под конец Первой мировой войны, приведя к полному изменению политической карты Европы, и затем, в 1989–1991 годах, самостоятельно и без какой-либо существенной помощи извне (самое большее — при доброжелательном интересе западного общественного мнения) разрушила сателлитные связи и вызвала распад СССР, решительным образом повлияв на соотношение сил в мире»<sup>22</sup>. Была ли сама по себе идея той силой, что вызвала изменения в регионе, это спорный вопрос. Истиной остается то, что как под конец Первой мировой войны, так и после завершения холодной войны совпадение стремлений и даже солидарность и сотрудничество (особенно заметные в начале 90-х годов) народов региона были очень велики, хотя стихийны, непродиктованные геополитической концепцией общей региональной идентичности. Не везде в регионе термин «Междуморье» сумел привиться в политическом дискурсе.

Вспомним, что Междуморьем геополитики называют пространство между заходящими на восток Европы «заливами» Атлантического океана — Адриатическим и Черным морями на юге и Балтийским морем на севере. Это один из европейских мегарегионов<sup>23</sup>.

Общность судеб большинства государств этого геополитического мегарегиона в период холодной войны выразилась в общем стремлении присоединиться к западноевропейским и североатлантическим интеграционным структурам. Она открыла поле для строительства (или восстановления) региональных связей. В начале 90-х годов в силу различных политических потребностей и побуждений появились различные региональные конструкции, от Вышеградской группы до Центральноевропейской инициативы и Совета регионального сотрудничества. Эти образования не стали и не могли стать значительными политическими явлениями. Их главной политической миссией стала координация движения к членству в ЕС и НАТО, а в случае Западных Балкан — создание на руинах войн и после рас-

пада Югославии нейтральной формулы многосторонних контактов. Институты регионального сотрудничества после решения вопроса о расширении ЕС и НАТО (и уже наверняка после достигнутых в 2004 году в Салониках договоренностей, гарантирующих перспективу членства в ЕС всем государствам Западных Балкан) неуклонно стали терять привлекательность (хоть они и продолжают выполнять весьма полезную функцию «малого» регионального сотрудничества в таких областях, как инфраструктура, транспорт, туризм).

Лишь в Польше имели место попытки использовать концепцию Междуморья для активизации внешней политики. Для некоторых польских политиков и экспертов эта концепция стала основой плана интеграции региона, который должен был представлять альтернативу быстрому расширению Евросоюза на Восток.

План этот исходил из того, что разница в уровне жизни (1:15) обеих частей Европы при сопоставимом демографическом потенциале (1:2) столь велика, что любая более или менее обширная программа объединения Европы приведет к катастрофическим последствиям<sup>24</sup>. К счастью, алармистские прогнозы не произвели впечатления на европейских политиков. А если даже и нашли отражение в так называемых альтернативных инициативах (Евросоюз-бис, НАТО-бис), то программа интеграции стран Междуморья как альтернатива быстрому расширению западных структур не стала от этого более реальной. Расширение Евросоюза и НАТО стало стратегическим успехом.

Еще одной типично польской темой было использование концепции Междуморья для обоснования тезиса о необходимости выведения Украины (а также Белоруссии) из постсоветского пространства, то есть из зоны непосредственного влияния России (которая называла постсоветское пространство ближним зарубежьем). Геополитический фактор стал для многих польских политиков главным мотором в их размышлениях об Украине, особенно на стыке 2004–2005

годов. Они больше были озабочены тем, чтобы вырвать Украину из сферы влияния России, чем триумфом там западно-либеральных ценностей. Что, впрочем, на практике означало одно и то же. И поддержала такое направление мышления польских политиков сама Россия. Если ирония была бы тут уместна, то страшно подумать, как могло бы выглядеть обоснование польской политики, если бы в 90-е годы прошлого столетия Россия стала образцовым примером демократических преобразований в Восточной Европе и с этих позиций строила бы свое влияние на Украине.

Однако в последние годы обнаруживаются признаки нарастающей фрустрации в польской геополитике из-за того, что концепция Междуморья потеряла привлекательность. Хватает сожалений, что Польша не хочет помочь прогнозу Дж. Фридмана воплотиться в жизнь, что она не ведет активной политики в Центральной Европе (то есть в сердцеvine Междуморья). Жители Центральной Европы (поляки, чехи, словаки, венгры, а также румыны и даже болгары) стоят друг к другу спиной. Правда, такая позиция носит характер дружественный и означает хотя бы то, что в наших взаимоотношениях нам ничего не угрожает<sup>25</sup>.

\* \* \*

Международное сообщество изменяется в столь головокружительном темпе и в соответствии со столь странной логикой, что понятия просто не успевают за этими изменениями. Лучший пример — глубоко укоренившиеся в обиходе термины «Восток» и «Запад». Времена холодной войны свели их к простой дихотомии: капиталистический блок — коммунистический блок. При таком делении бесспорной частью Запада стали и православная Греция и мусульманская Турция. Востоком же стали, в частности, католическая Польша и веками пребывавшая в границах Священной Римской империи Чехия.

Проблема инерции понятий затронула стратегическое мышление также в Польше. В реалиях объединяющейся

Европы и глобализационного разлома по линии Север–Юг понятийная сумятица была неизбежна. Еще десять лет назад было абсолютно естественно, что «говоря “Запад” или “Восток”, мы часто не знаем, к чему относится это определение — к миру, к Европе, к цивилизации, культуре или политике»<sup>26</sup>. Эта путаница понятий в наши дни становится все более шокирующей.

Когда в наши дни ссылаются на исторический контекст создания НАТО, подчеркивая, что «созданный после Второй мировой войны Североатлантический союз стал стратегическим фундаментом Запада»<sup>27</sup>, этому трудно возразить, ибо так выглядела геополитика после Второй мировой войны. «Союз был одним из создателей Запада и в то же время был передовой линией его обороны во времена холодной войны», соединял «США и Западную Европу, два столпа западной цивилизации»<sup>28</sup>. В сущности, любое другое описание шло бы вразрез с историческим мышлением.

Проблема же возникает, когда с помощью старых понятий пытаются описать будущее. А если это пытаются делать нерядовые умы, задающие тон в научных и публицистических дебатах в Польше, то проблема вырастает до серьезных размеров. Утверждать, что «Атлантический союз является основой безопасности *западного мира*» и что его главной задачей является «поддержание политико-стратегического единства обеих частей *западной цивилизации*»<sup>29</sup>, означает сделать будущее Союза заложником устаревших геополитических понятий. Рассмотрение проблемы безопасности в категориях цивилизационных отношений между «мирами», определение общности государств по принципу исключения больше не подходят к сегодняшнему международному сообществу. Эти старые схемы позволяют сделать вывод, что Украина может стать членом Союза, если она докажет свою принадлежность к западному миру; Россия, остающаяся с другой стороны днепровской кручи и доказывающая свои права на принадлежность к западному миру, всегда испытывала бы принципиальные геополитиче-

ские трудности, а НАТО всегда оставалось бы для нее закрытым, даже в случае, если бы Россия была нужна Союзу и соответствовала бы всем критериям членства.

Единственное, что могла дать развязанная геополитикой холодная война проблем, для анализа которых в терминах безопасности требуется концептуально новая методология, так это осознание, что без освобождения НАТО от висящей на нем, как ядро на ноге, старой геополитики организация эта обречена на стратегическое увядание. К счастью, принятая на саммите в Лиссабоне (ноябрь 2010 года) новая стратегическая концепция НАТО ни разу не апеллирует к понятиям «Восток», «Запад», «Север», «Юг».

#### 4. Виртуализация государства и геополитика

В то время, когда некоторые стратеги, причем не только польские, пытались «освежить» геополитику, в мире появились концепции, объявившие о ее конце. Высшим их проявлением наверняка можно считать теорию виртуального государства<sup>30</sup>. Она отвергает территориальный фетиш как объект поклонения в геополитике. Эта теория исходит из принципа, что территория перестает иметь значение для мощи государства. Территориальные конфликты, в ее понимании, становятся реликтом. Закат территориального государства имеет в основе объективные экономические изменения. Земля теряет ценность как фактор производства. Современная экономика, опирающаяся на услуги, научные исследования, производство товаров высокой степени переработки ослабляют зависимость от природного сырья, сельскохозяйственного производства, тяжелой промышленности. Более важным, чем контроль над источниками сырья, представляется контроль над рынками.

Если много веков назад единственным путем достижения державности была территориальная экспансия (Франция, Россия, габсбургская Австрия, Испания), то сразу

после Второй мировой войны Япония, а после нее и Германия показали миру, что мощь может опираться на растущий экспорт товаров высокой степени обработки, технологий и услуг. В экономике системные изменения нашли отражение в формуле такой виртуальной корпорации, которая располагает полным штатом персонала — управляющего, исследовательского, финансово-бухгалтерского, юридическо-консультативного, но у которой либо мало собственного производственного потенциала («производство с головой, но без тела»), либо его вовсе нет. Такой тип производства подразумевается и на уровне государства. Аналогом виртуальной корпорации и архетипом виртуального государства стали в свое время Гонконг и Сингапур (последний продолжает им оставаться). Их экономика развивалась благодаря концентрации управляющих функций на собственной территории и перенесению производственного потенциала на чужие территории (главным образом через прямые инвестиции). В Европе модель виртуального государства в большей степени применили на практике Швейцария, Голландия и Великобритания. Даже государства с большой долей сельскохозяйственного или сырьевого производства (Австралия, Канада, Бразилия) все больше соединяют традиционную экономическую модель с виртуальной. Есть, конечно, и такие страны, которым еще долго придется лечиться от территориального фетишизма. В первую очередь это Россия и Китай. Характерно, что синдром территориального фетишизма можно использовать и в текущем политическом анализе, потому что он довольно убедительно объясняет не только политическую риторику и дипломатическую стратегию этих стран, но и мировоззрение их политических элит.

Сбои на рынках сельхозпродукции за последние годы, «пузырь» нефтяных цен, повышенный спрос на продукцию металлургии и стройматериалы, вызванные китайским экономическим бумом, недвусмысленно склоняют к трактовке концепции виртуального государства как интеллектуальной

однодневки. Исчерпание естественных ресурсов, сокращение площадей сельхозугодий, проблемы с доступностью питьевой воды, климатические изменения — все это должно вернуть нас к старым парадигмам политики — территории, господству, территориальному конфликту, геополитике.

Однако это не самый вероятный сценарий эволюции мировой системы. Более вероятным вариантом будущего цивилизации является использование силы человеческого знания для поиска заменителей сырья, альтернативных источников энергии, более эффективного использования сельхозугодий и т.д. Более убедительный сценарий — это относительное снижение ценности фактора территории по сравнению с ценностью человеческого капитала. Однако условием действенности этой логики является поддержание политически открытого режима доступа к связанным с землей физическим ресурсам — сырью, продовольствию, транспортным путям. А это уже вопрос норм и их исполнения в системе международного порядка.

Концепция виртуального государства предполагает, что в международном плане оно выступает как «постоянно договаривающееся государство». Иначе говоря, это государство обеспечивает себе ощущение безопасности (оборону), престиж, положение в мире путем постоянных переговоров и сделок (на принципах эквивалентности — что-то за что-то) в рамках многоплановой системы с изменяемой геометрией союзников и соперников. Виртуальное государство не перестает быть главным игроком международных отношений. Оно не теряет значение в плане контактов гражданина с миром. Граждане такого государства в своих контактах с границей все еще нуждаются в его защите, помощи и поддержке, но не в каком-то судьбоносном разрешении. Виртуальное государство проводит реальную политику, эффективность которой не привязана к контролю над территорией.

Еще один аспект концепции виртуального государства — субъекты, организующие общество вне связи с конкретной

территорией, которые имеют или могут иметь растущее политическое влияние на международные отношения. В прошлом это были в основном религиозные организации (Римско-католическая церковь), идеологические движения (маоизм). Сегодня ими становятся преступные или террористические организации («Аль-Каида»). Классикой вида стали также международные корпорации. Со времени «банановых республик» часто говорят, что сила корпорации выше силы государства. «Дженерал электрик» или «Дженерал моторс» и сегодня показывают, что они скорее виртуальные государства, чем корпорации (их силу по сравнению с возможностями государства, причем весьма солидного, как, например, Германия, могло продемонстрировать хотя бы дело компании «Опель»<sup>\*</sup>). Виртуализация государства поэтому гармонично вписывается в более широкие (и более старые) тенденции виртуализации.

## 5. Китай и попытки гальванизировать геополитику

Неформатируемость современного состояния международного сообщества настоятельно требует размышления о будущем мировом порядке. Проблема состоит в том, что формулы порядка выводят из старых понятий международной политики — традиционного понимания мощи государств, общности интересов и их конфликта (превосходство национального над глобальным, примат сиюминутного над долгосрочным и т.д.).

Ничего удивительного, что вскормленные геополитикой формулы мирового порядка увядают так же быстро, как и

---

<sup>\*</sup> Речь о неожиданном решении в 2009 году компании «Дженерал моторс» не продавать принадлежащую ей автокомпанию «Опель» инвестиционному консорциуму — канадской Магна и российскому Сбербанку, несмотря на поддержку проекта германскими политиками. — *Прим. ред.*

расцветают<sup>31</sup>. Сводясь к довольно спекулятивным рассуждениям, кто с кем скорее вступит в конфликт, а кто с кем заключит союз, они представляют собой более или менее развернутые версии «ловушки Фридмана».

Фантазию геополитиков разбудил динамичный рост экономики Китая. Вдруг все как-то поняли, что именно Китай своим экономическим ростом раскрутил в середине первого десятилетия XXI века цены на нефть, догнав их практически до 150 долларов за баррель и вызвав тем самым серьезное замешательство среди международных стратегов. Общество вдруг осознало, что это страна, которая потребляет 50% мирового производства цемента, треть мирового производства стали, 25% мирового производства алюминия. Она, по весьма осторожным прогнозам, примерно к 2030 году превзойдет Соединенные Штаты и станет самой крупной в мире экономикой.

Между тем капиталистическое развитие могло бы так преобразовать ментальность китайского общества, что страна естественным образом отбросила бы коммунизм и перешла под знамена либеральной демократии. Демократический Китай, согласно прогнозам, мог стать приоритетным глобальным партнером США. Возник бы американо-китайский дуумвират в виде G2, который правил бы миром, справедливо поделив ответственность и лидерство: Америка — на Западе, Китай — на Востоке. Перспектива формулы G2 стала реально маячить перед европейцами. Их пугали, что без совместной европейской политики Европа выпадет из игры за будущие контуры мирового порядка, а история будет твориться, говоря словами бывшего французского премьера Э. Балладюра, не только «без Европы», но и, вполне возможно, «против нее»<sup>32</sup>.

Впрочем, оказалось, что демократия пробивается в Китае с большим трудом. Разгоревшийся в 2009 году спор Google с китайскими властями об условиях работы фирмы на китайском рынке был интерпретирован как системная проблема: неизбежность политического конфликта демократи-

ческого мира с Китаем. Было заявлено о фиаско политики, исходившей из предположения, что рост китайской экономики неизбежно придаст ее политическому лицу либерально-демократическое выражение<sup>33</sup>. К этому прибавилось самостоятельное поведение Китая на международной арене. Оно ярко проявилось на климатическом саммите ООН в Копенгагене в 2009 году.

Однако несмотря ни на что теплилась надежда, что мощи Китая можно будет придать нужное направление, вписать в конструктивный вектор, по крайней мере настолько, чтобы избежать китайской обструкции хотя бы по такому вопросу, как ядерная программа Ирана, не говоря уже о Северной Корее (на которую Китай имеет самое большое влияние).

В 2010 году с новой силой заговорили о неизбежной конфронтации Запада с Китаем. Главным поводом стала напряженность в отношениях Китая с соседями. Инцидент с задержанным японцами в своих водах китайским рыболовным судном напомнил о территориальном споре между Китаем и Японией. Напряженность появилась в китайско-вьетнамских отношениях (тоже главным образом на фоне территориального вопроса). Китайская реакция на каждую очередную поставку оружия на Тайвань напоминает, что в вопросе Тайваня Китай готов пойти очень далеко. Китайцы стали также выставлять все более высокие политические счета за контакты лидеров Запада с далай-ламой.

Ничего удивительного, что Китай превратился в благодатное поле для геополитического анализа, поскольку именно геополитика может стать ключом для понимания китайских интересов. Китай, счастливо одаренный благоприятным географическим положением, мог бы, идя по пути естественной геополитической экспансии, стать гегемоном восточного полушария<sup>34</sup>.

В соответствии с такой геополитической гипотезой китайские экспансионистские амбиции могли быть такими же решительными и даже такими же дерзкими, как и американские глобальные притязания минувшей эпохи. Однако в отли-

чие от США (а ранее — Европы) Китай не руководствуется сегодня миссионерским подходом к мировым проблемам: он не продвигает идеологию, не пытается насадить свои ценности. Его экспансия вызвана потребностью обеспечить себя энергоносителями, стратегическими металлами и минералами, необходимыми для поддержания высокого темпа экономического развития. То есть это чистой воды геополитическая мотивация. В соответствии с ней Китай строит свое влияние в мире, руководствуясь картой размещения нужных ему природных ресурсов. Он не может позволить себе отделения Синьцзяня или Тибета именно по этим, а не по каким-то другим причинам. Китай должен выйти на громадные просторы Монголии и российского Дальнего Востока. Естественными зонами китайских интересов являются также в этой геополитике Средняя Азия и Юго-Восточная Азия. Однако трудным вызовом для Китая может стать недружественная островная среда в Восточной Азии.

«Первая островная цепь» — Корейский полуостров, Япония, Тайвань, Филиппины, Индонезия, Австралия — оказывается исключительно стойкой к проникновению китайского влияния. По мнению стратегов<sup>35</sup>, ошибкой Пекина было возведение территориальных притязаний на Южно-Китайском море в ранг «жизненных национальных интересов», который до сих пор применялся к статусу Тибета или Тайваня. Это немедленно привело в действие предупредительные механизмы в государствах региона — от Брунея, Индонезии, Малайзии, Филиппин до Вьетнама. Терпеливо проводимой Китаем в последние годы политике развития культурных, экономических контактов, доброжелательного инвестирования, целью которой было не только налаживание добрососедских отношений, но и стратегическое вытеснение США, был нанесен урон. Государства региона снова расстелили перед Америкой «красную ковровую дорожку».

У американцев уже не было выхода: они вынуждены принять стратегию сдерживания Китая, сначала на региональ-

ном уровне, а затем распространить ее на весь мир. В таких категориях, в частности, воспринимается проблема торгово-платежного баланса в отношениях с Китаем.

Именно с этой глобальной точки зрения геополитическое измерение приобрел вопрос курса китайской валюты. В течение нескольких лет Соединенные Штаты (более или менее открыто поддерживаемые Европой) нажимают на Пекин, требуя повышения курса юаня. Низкий курс китайской валюты, несомненно, является тем ветром, который дует в паруса китайского экспорта, а он, в свою очередь, усугубляет асимметрию торговых и платежных балансов в пользу Китая. Но если проблему адекватности валютных курсов наложить на матрицу геополитики, то можно запутаться в том, какую политику надо проводить в отношении Китая. Потому что с геополитической точки зрения нажим на Китай с целью повышения курса юаня оказывается ошибкой. «Самая важная причина, по которой Соединенные Штаты не должны добиваться укрепления международной ценности китайской валюты, имеет геополитический характер. Исторически подтвержден тот факт, что ни одна валюта ни одной страны (а тем самым платежеспособность) не уступала другой валюте без последующего ущерба для международной мощи и влияния»<sup>36</sup>. Это означает, что колебания валютных курсов не являются механизмом регуляции торговых и платежных балансов, а могут быть геополитической игрой, что, как представляется, может вредить только самой геополитике.

Геополитическую интерпретацию получило и присуждение в 2010 году Нобелевской премии мира китайскому оппозиционеру Лю Сяобо<sup>37</sup>. К тому же это совпало с оживленными военно-политическими контактами США с государствами Юго-Восточной Азии, в основе которых был известный подтекст.

Саммит восточноазиатских стран в Ханое (октябрь 2010 года) был оценен как событие, сравнимое с Бандунгской конференцией 1955 года, положившей начало движению

неприсоединения. Встреча в Ханое открыла новую страницу в формировании региональной многополюсности, которая стратегически попала под влияние американо-китайского соперничества<sup>38</sup>.

Можно допустить, что решительность Китая имеет понятные психологические корни. Экономический прогресс позволил осознать, что страна обрела силу. А сила без политического влияния не может принести удовлетворения. Тем более что процесс усиления происходит после десятилетий тяжелых исторических испытаний, в которых источником унижений была заграница. Не только стихийные бедствия, голод, гражданская война или коммунистические кампании социальной инженерии ослабляли страну. Свою роль сыграли интервенция и иностранное господство. В течение многих лет Китай покорно соглашался с второстепенной ролью на международной арене, не подобающей ни потенциалу, ни исторической гордости, ни амбициям страны.

До Пекинской Олимпиады Китай проводил политику дружеских улыбок и негромких речей во внешней политике. Китай коробило, когда его называли восходящей державой. Сохранение темпов роста в то время, когда весь Запад попал в турбулентность, могло только добавить уверенности в себе. И добавило, причем в такой степени, что это вызвало беспокойство партнеров, в том числе и соседей. Это беспокойство исходило из аналогий с традициями исконной геополитики: каждая экономическая сила пытается стать политической силой — даже с помощью военных средств, если в этом есть необходимость. Другого алгоритма роста империй в прошлом не было. Так почему же с Китаем должно быть иначе? Эксперты по Китаю склонны считаться с этой идеей, учитывая преобладающую в китайских компетентных кругах неореалистическую школу мышления, согласно которой вооруженный конфликт считается допустимым способом решения проблем (естественно, на основе Устава ООН и т.д.). Появились также историософские объяснения, что в китайской ментальности глубоко закодировано недо-

верие (если не враждебность) к внешнему миру<sup>39</sup>. Другие исследователи Китая успокаивали, что элементы жесткого тона — это неизбежное следствие внутренней борьбы в связи с перераспределением власти на съезде КПК в 2012 году. Демонстрация силы, каковы бы ни были ее причины, в Китае — довольно рискованное предприятие, и трудно предположить, что китайское руководство не понимает этого. Она может быть как связующим элементом внутренней гармонии, так и компенсацией внутренней слабости власти, но в долгосрочной перспективе это рискованная политика, если принять во внимание масштабы китайских проблем (поддержание роста, поиск новых рынков, снижение социального неравенства, борьба с коррупцией и т.п.). Раздражать соседей и в том числе накликать на свою голову недовольство американцев — был бы не самый разумный политический курс.

\* \* \*

Перспектива глобального американо-китайского противостояния была бы черным сценарием развития международной ситуации. Спор между ними за руководящую роль в мире отбросил бы наш мир на целую эпоху.

Но геополитики могут утешить себя. Во-первых, прежде чем Китай станет богатым и тем самым по-настоящему великим, он состарится (что вызовет быстрое исчерпание простых факторов роста).

Доля населения в возрасте свыше 60 лет в Китае вырастет с 11% в 2004 году до примерно 30% в 2040-м (то есть составит около 400 млн человек, а это больше, чем все население Франции, Германии, Италии, Японии и Великобритании вместе взятых)<sup>40</sup>, а численность населения в трудоспособном возрасте сократится в 2015–2050 годах на 25%. По общей численности населения Индия превзойдет Китай уже в 2035 году.

Во-вторых, прежде чем Китай повернется против Запада, он погрязнет в региональном соперничестве: начиная с

Японии, далее с Кореей, Вьетнамом и всем Индокитаем, кончая всей Юго-Восточной Азией. А самое настоящее геополитическое столкновение за первенство в Азии должно, по идее, произойти между Китаем и Индией.

\* \* \*

Согласно альтернативным прогнозам, настоящим вызовом для Запада может стать в перспективе полувека как раз Индия, а не Китай. В отличие от Китая, у Индии есть демографическое будущее. Сегодня 50% населения страны составляет молодежь до 25 лет. За последние годы Индия сильно отстала от Китая. Но, несмотря на свои минусы — плохую инфраструктуру, экономическую коррупцию, административный хаос, политическую нестабильность и т.д., у нее — по сравнению с Китаем — более благоприятные виды на развитие. И все это благодаря демографии и демократии (3 млн выборных представителей!).

Индия уверенно демонстрирует миру свою растущую экономическую силу. Ушли в прошлое ассоциации этой страны исключительно с колл-центрами телефонного международного обслуживания клиентов. Индия — страна, давшая миру новых глобальных гигантов индустрии («Арселор», «Тата»). TCS и Infosys успешно конкурируют с IBM в области консалтинга. И теперь Индия больше ассоциируется с так называемыми гандийскими (упрощенными) вариантами инноваций, то есть товар или услуги предлагаются в упрощенном виде, и они оказываются вне конкуренции из-за низкой цены.

Геостратеги<sup>41</sup> расценивают рост Индии как благоприятный фактор азиатского развития. В силу одного лишь экономического роста Индия становится противовесом имперским амбициям Китая. Эксперты, которым становится не по себе от одной только мысли об активном американском вмешательстве в сдерживание Китая, не мечтают ни о чем другом, как об использовании с этой целью Индии. Но в настоящее время для этого нет предпосылок.

Несмотря на исторические коллизии, территориальные споры и политические разногласия (далай-лама и вопрос о том, что будет после него), до сих пор на глобальной политической арене Индия и Китай реализовывали общие интересы. В частности, они легко вошли в формулу БРИК. Но если возникнет соперничество, то и формула БРИК может оказаться под сомнением. «На бумаге» у нее есть потенциал, чтобы стать движущей силой мировой экономики<sup>42</sup>. В сущности, уже сегодня эти четыре страны экспортируют больше, чем страны G7. Приблизительно к 2032 году они превзойдут G7 по размеру экономики. Хозяйственные профили государств группы принципиально различаются. Китай живет экспортом товаров, Индия — экспортом услуг, Россия — экспортом энергоносителей, Бразилия — экспортом сельхозпродукции. Но больше всего они различаются в политическом отношении (внутренним устройством, глобальным статусом, связями с Западом). Их общим политическим знаменателем было желание выступить в роли противовеса господству США и Западной Европы в глобальных управленческих структурах. Но этого мало, чтобы изменить мир.

\* \* \*

Однако простые деления перестанут объяснять политическую динамику мира. Кошмаром для западной цивилизации наверняка стала бы дихотомия: Запад — остальной мир (*The West vs The Rest*). Тем более что ряды стран традиционно понимаемого Запада неуклонно сокращаются. Не без основания появилась аббревиатура новой группы стран — БИСАТ (Бразилия, Индия, ЮАР, Турция), то есть государства, принимающие западную социально-экономическую модель, но политически идентифицирующиеся скорее с развивающимися странами, чем с западными демократиями<sup>43</sup>.

Все эти деления в большей или меньшей степени применимы к прогнозированию характера и конфигурации политических отношений в мире в будущем. Концепт «Запад против остального мира» прежде всего передает настроения

политического реванша в странах Юга. Государства Юга объединяют идеи обновления международных институтов, ограничения влияния США и особенно Европы в международных институтах, что является выражением стремления к политической эмансипации. Разногласия касаются также будущих моделей развития. Одной из главных проблем будущего наверняка является проблема последствий климатических изменений, решение которой должно объединять людей, ибо она, несомненно, имеет общечивилизационное измерение. Тем не менее она не объединяет, а как раз разъединяет государства. К еще более глубокому расколу между двумя цивилизационными пространствами может привести открыто выражаемая позиция, что во имя «общечеловеческих» интересов страны Юга не должны копировать ни западную модель потребления, ни западный образ жизни<sup>44</sup>.

Эта модель — автомобили, дома, техника, электроника и пр., будь она принята в странах-гигантах — Китае, Индии, Индонезии, привела бы к экологической катастрофе, истощению сырья. Единственным выходом было бы принятие странами Юга пути постконсьюмеризма, когда качество жизни измеряется отнюдь не количеством потребляемых материальных благ. Цель, несомненно, благородная, но малореалистичная. Проблема климата может объединить человечество только в случае, если Юг не будет лишен шансов развития.

\* \* \*

Другие мегатренды дают простор очередным спекуляциям на тему соотношения сил в мире. И, возможно, самая впечатляющая из них та, что поднимает вопрос демографических процессов. Если когда-то говорили, что география — это судьба, то теперь говорят, что демография — это судьба.

Джек А. Голдстоун выделяет четыре главных демографических тренда, которые к 2050 году будут оказывать влияние на мировую политику. Во-первых, значительно (на 25%) сократится доля населения развитых стран. Во-вторых,

рабочая сила развитых стран будет стареть и сокращаться. В-третьих, мировая популяция будет сосредоточена в самых бедных, самых молодых по среднему возрасту жителей и в большинстве мусульманских стран. В-четвертых, большинство населения планеты будет жить в городах. Как все это отразится на политике и мощи государств? А вот как. Если в Европе, Соединенных Штатах, Китае и Японии население в возрасте более 60 лет будет составлять более одной трети общества, то следует забыть о революциях и инновациях и обо всем, с чем ассоциируется энергия общества, политическая динамика и способность лидировать в мире. Миром будут править богатые, но уставшие, неспособные быть лидерами государства.

Из демографических трендов Голдстоун выводит новую концепцию трех миров в глобальной гео-, а может, скорее демополитике середины XXI века. Первый мир составят стареющие промышленно развитые страны — Европа, Северная Америка, а также государства тихоокеанского побережья (Япония, Китай и Корея). Второй мир — государства быстрого роста, где население будет представлено здоровой разновозрастной смесью (Бразилия, Иран, Мексика, Таиланд, Турция, Вьетнам и др.). И наконец, третий мир — демографически активные, но бедные, слабоуправляемые страны, в большинстве своем африканские<sup>45</sup>.

У демополитических теорий есть одна серьезная слабость. Они недооценивают изменений ментальности и эволюцию образа жизни, делающих понятие пенсионного возраста весьма относительным. Не учитывают они также и того факта, что демографические изменения имеют всеобщий характер. Это относится, в частности, и к таким явлениям, как увеличение продолжительности жизни, уменьшение фертильности женщин, сокращение младенческой и детской смертности. Проблема состоит в том, что эти явления с неизбежностью обнаруживаются всюду. Для арабских государств характерна демографическая статистика, аналогичная той, что имела место в западноевропейском обще-

стве примерно пятьдесят лет назад<sup>46</sup>. И можно быть уверенным, что к демографическим показателям, ныне демонстрируемым Западом, арабские страны даже при их специфике (например, многоженство) обязательно придут, причем гораздо быстрее, чем нам сегодня кажется. И тогда демографические параметры станут еще более эфемерной категорией деления мира, чем сегодня география.

Однако демография пока еще остается важным аспектом прогнозирования состояния мира. Бунт молодых, если и наступит, может принять всеобщий характер. В странах Юга проблема в том, что экономика не поспевает за естественным приростом населения: избыток трудоспособного населения блокирует шансы молодых на занятость. В странах Севера проблема в увеличении пенсионного возраста: пожилые люди долго занимают рабочие места и мешают карьерному росту молодых. И в том и в другом случае возникает угроза полной потери перспективы и фрустрация.

\* \* \*

Имеют место и попытки построить новую геополитику на географии месторождений и транспортировки энергоносителей. Обладание избыточным количеством сырья, особенно энергетического, — это как выигранный лотерейный билет<sup>47</sup>. Это помогает улучшить жизнь, но может также стать источником проблем (легкие деньги делают нерентабельным развитие других отраслей экономики — это так называемая голландская болезнь). Мир нельзя поделить на тех, у кого есть сырье, и тех, у кого его нет. В политическом плане такое деление ничего не даст. А кроме того, сырье — экономическое оружие ближнего радиуса действия. И в этом убедились арабские страны после Шестидневной войны в июне 1967 года. Из-за ограничений поставок углеводородов на Западе возникли определенные экономические трудности, но это быстро привело к технологическим сдвигам, что обернулось снижением спроса на энергоносители, а арабские страны-экспортеры понесли потери.

Об этом уроке, похоже, забыл Китай. Он занимает положение монополиста (более 90%) в области производства редкоземельных металлов. После конфликтов с Японией из-за спорных территорий Китай ввел в 2009 году ограничения на их экспорт в Японию, да и в другие страны. Приспособительная реакция всего мирового рынка импортеров этих металлов последовала немедленно.

Согласно прогнозам, сделанным еще во время «нефтяного ценового пузыря», в мире до 2050 года вдвое увеличится потребность в энергии. Самые большие напряжения могут возникнуть в поставках газа, причем уже в 2020 году. Сильное падение может произойти в поставках нефти с Ближнего Востока (главным образом по причинам инвестиционно-технологическим). Беспроblemными кажутся возможности удовлетворения спроса на уголь, хотя со временем рынок угля может испытать определенное напряжение вследствие роста масштабов переработки угля в жидкое топливо. Будет расти значение возобновляемых источников, хоть на ситуацию на глобальном энергетическом рынке они не окажут существенного влияния. В соответствии с абсолютно беспристрастным анализом, мир не будет испытывать существенных проблем удовлетворения спроса на энергию. И хоть рост цен на энергию неизбежен, их можно будет удерживать на таком уровне, который не будет тормозить экономический рост и который обеспечит экологическую безопасность. Всего этого можно достичь при разумном и, хотелось бы сказать, мало-мальски конструктивном международном сотрудничестве и позитивном настрое правительств<sup>48</sup>. Противоборство может только взвинтить издержки уравнивания спроса и предложения. То есть гипотеза новых геополитических напряжений, в основе которых была бы энергия, маловероятна.

В Польше особое значение приобрел вопрос геополитизации сети транспортировки газа (и нефти, если принять во внимание подтекст перекрытия ответвлений нефтепровода «Дружба», проходящего через Мажейкяй в Литве).

Искушение использовать транзитные пути для реализации политических интересов всегда велико, особенно если нет других подходящих инструментов. Так что ничего удивительного, что Россия могла впасть в это искушение. Однако после улучшения климата польско-российских отношений геополитические ассоциации в нашем дискурсе исчезли.

## 6. Мировой порядок и публичные блага

Масштаб и характер мировых процессов заставляют искать формулы мирового порядка в расстановке основных сил, в отношениях между крупными субъектами международных отношений. Более ста лет назад в ходу была теория «трех мировых империй». В соответствии с ней, в результате естественного отбора у руля мировых дел должны были остаться только три державы. Все остальные раньше или позже оказались бы на обочине, в качестве объектов влияния одной из империй. На Британских островах в роли этой тройки видели Британию, Америку и Россию (что имело место в очень кратком промежутке 1941–1944 годов, ибо к концу войны британцы играли в этой конфигурации роль скорее декоративную). Сто лет назад в качестве четвертого полюса видели себя немцы. В свою очередь, французы, иногда даже успешно, предлагали себя в качестве четвертого центра силы. После Второй мировой войны оказалось, что предсказания де Токвиля о биполярном мире были правильными, но биполярная система, хоть и была долгие годы стабильной, оказалась слишком утомительной для мира.

Происходящие в экономическом или военном потенциале государств изменения естественным образом открывали пространство для поиска волшебной формулы стабильного мира. Стабильность превратилась в своеобразную манию Запада, была возведена в ранг сущности всей мировой системы, что натолкнулось на стену непонимания среди партнеров на Юге.

Там стабильность рассматривали как консервацию несправедливого для Юга порядка. Это мало кому могло понравиться. Поэтому государствам Запада пришлось сменить риторику. Они должны были овладеть такой парадигмой миропорядка, которая соединяла бы в себе необходимую динамику и гибкость, соответствовала потребностям мира как сообщества и системы. Стабильность не привлекает партнеров и не дает ключа для ответа на быстро меняющиеся вызовы. В конечном счете именно характер вызовов будет определять порядок. Иначе говоря, подтверждение получит идея о том, что «задача будет определять коалиции». Легче организовать коалицию нескольких крупных субъектов, чем десятков мелких. G2 в варианте Китай–США, G3 в комбинации Китай–США–Европа (или в каком-то другом варианте), а возможно, и G4 в коалиции Китая, США, Индии и Европы — все эти сочетания наверняка более просты в управлении, чем G20, а может, даже со временем и G25 (возможно, новая формула Совета Безопасности ООН).

Не удивляет, что в некоторых интеллектуальных центрах причину нестабильности мира видят в самих основах современной системы международных отношений, прежде всего в принципах вестфальской системы и в концепции национального государства. Национальное государство может быть генератором и катализатором национализма, и, таким образом, этнических конфликтов, нетолерантности и т.п. Концепция национального государства стала также источником в высшей степени консервативного характера глобального порядка. Консерватизм же опирается прежде всего на необходимость формального соблюдения принципа номинальной суверенности и равенства государств. Эти принципы дают право участия в управлении миром коррумпированным и подлым тиранам (взять хотя бы недавний пример Каддафи), что ставит под вопрос моральные основы всей международной системы. Концепция национального государства в сегодняшних условиях приводит также к тому, что все шире становится разрыв между формальной суве-

ренностью иного государства и его реальной способностью решать внутренние проблемы<sup>49</sup>.

Недостатки и слабости национального государства бесспорны. Однако настоящая проблема возникает тогда, когда для преодоления этих недостатков предлагается возродить имперскую идею.

Соединенные Штаты строят свою политику на продвижении тех ценностей, на которых сами были созданы, то есть демократии, либеральной экономики и свободы<sup>50</sup>. Пребывая в саркастическом настроении, легко можно прийти к выводу: Америка не перестанет изменять мир, пока он весь не будет выглядеть как Америка<sup>51</sup>.

Концепт успешной либеральной империи<sup>52</sup> появился как следствие разочарования в модели рассредоточенной силы и слабости национальных государств. Но это никак не концепция, у которой есть шансы эффективно функционировать, так как она игнорирует исторический опыт неизбежного краха имперских структур. Исторической закономерностью стал закон, который полушутя сформулировал исследователь древней истории Петер Хизер на манер третьего закона Ньютона: «Держава, навязывающая свою волю другим политическим субъектам, вызывает их противонаправленное действие, в результате которого в конечном счете формируется щит, о который затупится или даже сломается клинок имперского меча»<sup>53</sup>. Ни в одном из своих видов — ни в виде неоимперской миссии США, ни в виде постмодернистской «мягкой силы» в форме Евросоюза — либеральная империя не встретит радушного приема там, где ей придется оказывать свои стабилизирующие и в общем положительные влияния. Причина проста: люди не хотят, чтобы их насильно делали счастливыми, они хотят быть хозяевами своей судьбы, не желают испытывать чувство, что их будущее решается в далеких столицах. Именно по этой причине (а не из-за отсутствия ощутимых экономических или цивилизационных выгод) у Евросоюза есть проблемы с приятием его власти даже гражданами госу-

дарств-членов, а что уж говорить о тех государствах, которые Евросоюз собирается взять под свой мягко-имперский протекторат. Что же касается американцев, то они, несмотря на неизмеримый экономический потенциал, который они могут использовать для реализации своего влияния, неспособны урегулировать, казалось бы, простые ситуации, например, в Сомали, Йемене, не говоря уже о стабилизации Ирака. Неоимперские идеи, и это очевидно, никогда не будут приняты в тех странах, которые испытали «имперскую стабилизацию» на собственной шкуре, например, в Польше. Поляки были одним из народов, которым собственной судьбой пришлось расплачиваться за те относительные порядок и стабильность, которыми пользовалась имперская Европа в XIX веке. Тем более неоимперские концепции не примут в постколониальных странах.

Проблема в том, что надежды на рост контролируемости международного сообщества могут оказаться тщетными. Ибо контролируемость растет во времена соперничества. Соперничество же вызывает к жизни духов геополитики. Та одышка, которая появилась у глобализации после финансово-экономического кризиса 2008–2010 годов, дала предлог для рассмотрения будущего мира в категориях соперничества. Но все же думается, что, несмотря на трудности формирования глобализованного мира, конфронтация не станет доминантой будущего. Если смотреть объективно на тенденции мирового развития, то расширяется диапазон публичных благ. Глобальным публичным благом стали не только мир и безопасность. Ими, несомненно, стали считать также экономическое развитие и экологическое равновесие. Невозможно рассматривать сотрудничество в этой области как игру, в которой выигрыш одного означает проигрыш другого. Именно расширение содержания понятия публичного блага в мире, более чем виртуализация государства и дефетишизация территории, делает геополитику малопригодной в объяснении мира.

\* \* \*

Глобализация ослабила роль географического фактора в развитии государств, но география тем не менее не сдает позиций. Нет таких людей, которым было бы все равно, кто их соседи и какие у них намерения. Каждый хотел бы, чтобы рядом с ним было побольше бескорыстных друзей и поменьше опасных и непримиримых врагов. Никому не хочется оказаться рядом с очагами кризисов. Мало кого обрадует факт, что его территория находится в радиусе действия смертоносного оружия или экологических катастроф. Каждому хотелось бы иметь в своем распоряжении необходимый запас стратегического сырья.

Все труднее становится найти географический рецепт успеха. Место на земле перестает быть пропуском к успеху. Но оно также перестает быть и проклятием. Не стоит искать причины своей судьбы в приговоре географии. Вряд ли сегодня найдется более бесполезное в политическом плане занятие.

## II. Дипломатия экзистенциального кода

### 1. Сила и политика

Теории, описывающие международные отношения, главным образом структурируют материал и объясняют его. Они более или менее убедительно объясняют причины имевших место в мире событий, но хуже у них получается с прогнозированием. Каждое принципиально новое международное событие, которое трудно объяснить в рамках существующих теорий, как бы приглашает создать новую теорию. Это делает сферу международных отношений исключительно богатой теоретическими концепциями и системами.

В анализе международных отношений преобладают два основных подхода, условно говоря — реалистический и идеалистический. Реалисты сводят международные отношения к силовому соперничеству, возводят в абсолют понятие национальных интересов, ищут международный порядок в формулах равновесия сил. Идеалисты смотрят на международные отношения как на пространство формирования цивилизационных ценностей (справедливость, мир, развитие). Стабильность в мире, считают они, должна опираться на верховенство норм международного права, силу международных институтов и гармонию интересов.

В прошлом столетии создавалось впечатление, что после каждого вооруженного конфликта и особенно после мировых войн в паруса теорий идеалистов дул попутный ветер. Реалисты же получали право голоса на этапе сгущения туч на международном горизонте (1930-е и 1950-е годы). К на-

шему времени успели вырасти новые школы — неореалистические и неолиберальные. Смешанные черты внес, в частности, структурализм. Попытки оригинального критичного взгляда на оба течения отражены в разнообразных рефлексивных теориях.

Международные отношения постоянно будут ускользать от жестких формулировок и в особенности от любого рода количественных определений, формул и уравнений (что, впрочем, вовсе не означает, что они бесполезны и лишены интеллектуального изящества). История дипломатии полна примеров, когда ход событий трудно было объяснить обьективизированными параметрами. Классические дефиниции международных отношений определяют эти параметры как «отношения сил и интересов»<sup>1</sup>. Сила государства всегда относительна, она познается только в сравнении. Для исследователей международных отношений естественно сравнивать мощь одной страны с силой другого государства.

«[...] мощь государства на международной арене можно определить как способность одного государства к принуждению другого государства к определенному действию (путем уговоров, давления или применения военной силы)»<sup>2</sup>. В сегодняшних реалиях, когда управляемость международными отношениями радикально снизилась, такие дефиниции должны звучать анахронизмом. То или иное государство часто имеет силу, но применить ее к другим государствам не в состоянии.

После окончания холодной войны разрушение старого мирового порядка пошло такими темпами, что все труднее становилось контролировать действия все большего числа государств. От двуполярного мира мы перешли к одно-, а потом и к многополярному, который, в сущности, оказался миром без полюсов. Вряд ли можно сомневаться в военной мощи США. Она равняется сумме военных потенциалов всех вместе взятых государств мира. Но точно так же трудно эту мощь применить даже в качестве аргумента давления. Бедное (но ядерное) государство КНДР может успешно

противостоять американскому давлению и даже прибегать к шантажу и угрозам. И делает это практически безнаказанно.

Так чем же и как сегодня измерять мощь государств? Н. Фергюсон сводит ее к торгово-переговорщицким категориям: «Мощь [...] состоит не только в том, чтобы быть в состоянии приобрести все, чего только ни пожелаешь; это лишь достаток. Мощь состоит в том, чтобы получить все, что пожелаешь, по цене ниже рыночной»<sup>3</sup>. Мощь уменьшается, если ею делиться, то есть по природе своей она ограниченное благо.

Правильнее всего и в соответствии с логикой эволюции международных отношений было бы сегодня стараться измерять мощь государства его способностью удовлетворять потребности (безопасность, благосостояние и т.д.) собственного общества в глобализированном мире. Мощным государство делает хотя бы привлекательность паспорта, которым пользуются его граждане, а вообще — его способность реализовывать интересы граждан (заключать экономические контракты и т.д.) в мире. Какой прок от мощи государства, если его паспорт не защищает и обрекает человека на опасности, дискриминации, вызывает враждебность, закрывает границы, затрудняет устройство на работу за границей (не говоря уже о кандидатуре на должности в международных структурах).

Научные или политические усилия, связанные с оценкой объективной мощи государства, занятие лишь относительно полезное, потому что для выбора политики решающее значение имеют не столько показатели реальной силы, сколько то, как эта сила воспринимается в мире. Международная политика, как, возможно, никакая другая область политики, является игрой воображения. То, как представляются возможности других государств и собственные возможности, как интерпретируются интересы других государств и собственные интересы, важнее того, как эти интересы и возможности выглядят на самом деле, в реальности. Мир воображаемый и мир реальный — параллельные миры. И, даже

будучи в отношениях взаимосвязи, эти миры могут находиться друг от друга на значительном отдалении.

Мы можем измерять и прогнозировать экономические процессы, рассуждать о влиянии демографических или климатических факторов на международное сообщество. С большей или меньшей объективностью мы можем также исследовать влияние технологий на образ жизни общества и на деятельность политических институтов. Для исследования международных отношений это сравнительно простые области. Самым большим неизвестным является человек; самая большая проблема — непредсказуемость его ума. Научное знание здесь часто оказывается беспомощным<sup>4</sup>. Исаак Ньютон говорил, что сможет рассчитать движение небесных тел, но никоим образом не в состоянии предвидеть безумие людей.

Попытку примирить мир реальный и мир воображаемый предприняли конструктивисты. Они использовали то пространство, которое создала дихотомия между реалистическим и идеалистическим подходами к международным отношениям. Они построили свою теорию на предположении, что между сущностью субъекта международных отношений и его поведением на международной арене есть тесная связь. Субъект, и это естественно, оказывает воздействие на структуру. Конструктивистов же больше интересовало то, как структура влияет на субъект, особенно на формирование его идентичности и ее изменение. Классические геополитики трактовали идентичность как нечто неизменное, рационалисты видели воздействие среды на поведение субъекта в причинно-следственных категориях. А вот конструктивисты сосредоточиваются на нематериальной стороне, которая лежит в основании политического выбора. Они подчеркивают динамичный характер взаимозависимости в паре «среда–субъект»; исследуют механизмы изменения сущности участника международных отношений, эволюцию его идентичности, которая определяет его восприятие своих объективных интересов<sup>5</sup>.

Не подлежит сомнению, что, повышая динамику международных отношений, процесс глобализации одновременно повысил и значение фактора идентичности участников международных отношений. Перемены в идентичности стали реально ощутимыми. А это дает социологическим теориям международных отношений дополнительный импульс.

\* \* \*

Ничего удивительного: прогресс начинается в головах. Это относится и к вопросу управления миром. А международная политика также является в большей или меньшей степени осознанным, в большей или меньшей степени запланированным способом управления миром.

Темп цивилизационного развития следовало бы определять по ментальности общества. Ментальность — и здесь надо отдать должное сторонникам геополитики — зрела, формировалась под влиянием географии, климата, соседства. Это бесспорно. Но в то же время она перерастала эти связи и со временем от них освобождалась.

Существует масса разных объяснений того, как на протяжении веков менялась ментальность. Однако многие из них не имеют научного подтверждения. Так, например, по одной из популярных теорий, катализатором созревания ментальности был контакт с морем. Морским сообществам, выросшим на контактах с заморскими гостями, была свойственна природная открытость к новому и неизвестному, широкое видение политических горизонтов, построение далеко идущих планов. Историко-цивилизационное значение великих географических открытий, сделанных европейцами в XV–XVI веках, состояло не только в том, что они обогатили Европу, они прежде всего изменили коллективную ментальность. Трудно с этим не согласиться.

Еще один подход, который стоит представить, даже если он вызовет улыбку, учитывает климат как катализатор развития. В соответствии с ним сообщества, живущие в теплом климате, в особенности африканские, не принужденные

температурными условиями заботиться об изготовлении теплой одежды, должны были развиваться медленнее в цивилизационном отношении. А другие сообщества жили в климате настолько прохладном, что были вынуждены думать об одежде и развивались быстрее благодаря фактору предусмотрительности. Впрочем, теория эта слабо работает даже в отношении Африки.

Более убедительно, думается, ментальность африканских народов объясняется синдромом неуверенности в завтрашнем дне. Африканцы всегда жили в высокоопасной среде. Хищные звери, смертельные болезни, межплеменные войны, климатические бедствия (засухи, наводнения) делали человеческую судьбу абсолютно непредсказуемой. Смерть, перечеркивающая все планы, могла прийти в любой момент, без предупреждения, без знака. Размышлять о будущем не имело смысла. Отсюда в африканских сообществах с большим трудом воспринимались концепции «отсроченного удовольствия», долгосрочных инвестиций, «накопления про запас». Африка была континентом духа предков и жизни в настоящем времени. Заимствованные у чужих людей иные социально-экономические элементы жизни иногда принимались, но мало меняли ментальность. Социализм в африканском варианте не учил планировать. Если сила и привлекательность капитализма состоят<sup>6</sup> в том, что человек это то, кем он может стать, а не то, кто он сегодня и каковы его сегодняшние интересы, то в африканском варианте у возможностей не слишком отдаленные временные перспективы.

О феномене ускоренного развития западной цивилизации опубликованы тома. Возможно, ее и не было бы, если бы не вызов природы — необходимость пережить зиму (более или менее суровую), но прежде всего — отвоевать землю для обработки у лесов умеренного пояса. География тут играет не последнюю роль. Если «посмотреть на карту мира, где обозначено производство или доход на душу населения, то окажется, что богатые страны находятся в умеренном поясе,

а именно в северном полушарии, а бедные — в тропических и субтропических зонах»<sup>7</sup>. Дэвид С. Лэндис также объясняет географией начальную асимметрию в развитии разных регионов. Европа стала развиваться позже, чем агломерации людей в долинах Тигра или Нила. Она была покрыта лесами с твердой древесиной, но с наступлением железного века, когда жители Европы научились к тому же использовать рабочий скот, ее земли стали козырной картой. По-настоящему, считает Лэндис, европейское развитие сделало первые шаги только с концом великих завоеваний и переселения народов, то есть примерно в XI веке нашей эры (после походов германцев, сарацинов, венгров и т.д.). И если по Кеннеди движущим фактором европейской цивилизации были войны, то по Лэндису развитие могло произойти только тогда, когда исчезла угроза внешней агрессии и опустошительных войн. Первое европейское ускорение, наступившее во время так называемой средневековой революции, было связано с новыми технологиями возделывания земли и развитием торговли. Однако вперед Европу подтолкнуло все-таки «изобретение изобретательства»<sup>8</sup>. Вопреки тезисам Кеннеди, что прогресс вызывали военные потребности, изобретения эпохи позднего Средневековья, кроме оружейного пороха, имели сомнительную связь с императивом войн. Например, очки, водяное колесо, механические часы или книгопечатание... Трудно в этих изобретениях отыскать геополитический контекст. Они просто были призваны облегчить жизнь людей. И появились они из головы, а не из географии.

Катализатором дальнейшего развития стали великие географические открытия. Они дали Европе богатство (золото), технические новинки (навигационные приборы и т.д.), но прежде всего они улучшили рацион питания (специи продлевали годность продуктов, картофель и кукуруза ликвидировали угрозу массового голода, тростниковый сахар повышал калорийность еды и т.д.).

Тот факт, что европейцы двинулись на покорение мира, давал им преимущество, но, как считают некоторые экспер-

ты, настоящий цивилизационный прорыв для Европы наступил лишь с началом XIX века. До той поры образ жизни людей в Европе мало отличался от жизни в других цивилизационных ареалах. Он также мало отличался от существования людей тысячу лет назад. Люди не были ни богаче, ни здоровее, ни выше ростом. За многие тысячелетия не изменилась продолжительность их жизни. Лишь к 1800 году экономический рост приобрел такие темпы, которые позволили заметно повысить уровень жизни. К перелому привело изменение ментальности: человек активно устремился к научному знанию и пытался дать ему практическое применение<sup>9</sup>. Но в основе перемены была культура, а не геополитика. Заметьте, что о ментальном переломе двухсотлетней давности говорят в сегодняшней Америке, дабы показать опасные тенденции, имеющие место в сознании современных американцев. Американское общество, выросшее на цивилизационной революции XIX века, сегодня избегает практической ментальности (это бегство некоторые называют «британской болезнью»). Американская молодежь не идет больше в практические профессии — инженерные, конструкторские, торговые, в бизнес. Она ищет решения жизненных проблем в более престижных, но мало связанных с производством занятиях: в профессиях юриста, советника, в деятельности типа нон-профит. Однако в этой метаморфозе ментальности никто не пытается искать геополитические подтексты.

Так с каждым столетием западного прогресса геополитические объяснения теряют свою силу. Более широкий методологический взгляд предполагает, что превосходство Запада в цивилизационной гонке в течение веков предопределили несколько сравнительно простых факторов. Так, согласно Д. Лэндису, успех Запада объясняется автономией интеллектуальных поисков, укоренением дискуссии и стремлением к изобретательству<sup>10</sup>. Н. Фергюсон же считает, что факторами успеха были капиталистическое предпринимательство, наука, правовая политическая система, опираю-

щаяся на частную собственность и свободу личности, экспансия (империализм), потребительское общество, протестантская этика труда и накопление капитала<sup>11</sup>. Предположив, что именно в них сосредоточена тайна западного благосостояния, мы должны признать, что эти факторы как раз являются доказательствами преодоления влияния геополитики. Если ментальность общества поначалу формировалась на основе геополитических обусловленностей и на ранних стадиях развития современной цивилизации оставалась зависимой от геополитики, то с течением времени она сумела вполне освободиться от нее.

Эти, возможно, слишком пространные рассуждения об источниках богатства народов проистекают из одного очевидного факта: без понимания логики цивилизационного развития трудно говорить о раскладе сил в мире и во внешней политике государств. Итоговый анализ внешней политики всегда сведется к уровню оценки материального потенциала государства и менталитета народа.

\* \* \*

Внешняя политика в большей степени зависит от богатства (или бедности), чем создает их. Но, естественно, мудрость (или глупость) внешней политики имеет влияние, порой существенное, на перспективы развития. Примеров множество. Один из наиболее ярких — бессмысленная во всех отношениях война Испании с Нидерландами в XVI и XVII веках. В итоге при сравнительно небольшой ставке Испания в результате поражения скатилась с уровня имперской державы до положения второстепенного европейского государства.

Общепризнанная истина гласит, что, чем мощнее государство, тем более сильным внешним воздействиям оно подвергается. Падение империй ассоциируется, как правило, с неспособностью справиться с внешним давлением («имперская усталость», *overstretch*). Рим обрушился под натиском варваров, Британию доконали две мировые войны,

а СССР пал под тяжестью гонки вооружений с Америкой. В действительности все империи рушатся, как известно, под собственной тяжестью. Рим потерял имперскую жизнеспособность задолго до ударов германцев. Британия уступила бы экономическое первенство Америке самое позднее через десять лет, даже если бы и не разразилась Первая мировая. СССР был обречен на развал из-за экономической слабости системы.

Дипломатический гений не создаст мощного государства из ничего. Даже эффективная стратегия строительства империи Габсбургов путем матримониальных союзов с европейскими тронами не стала в долгосрочной перспективе рецептом имперского долголетия. Но не служит наращиванию силы и отсутствие внешней политики. Изоляционизм, который практиковали в Средневековье Китай и Япония, привел их к цивилизационной деградации. Современные примеры (Албания времен Э. Ходжи и КНДР Ким Ир Сена) тем более широко известны.

Сейчас такое время, когда в череде дипломатических событий наблюдатели пытаются уловить эпохальный перелом — конец цивилизационного первенства Запада, закат американского лидерства, маргинализацию Европы.

\* \* \*

Международные отношения — это область взаимодействия с высоким уровнем индивидуальной составляющей. Государство в этих отношениях — безусловный субъект. А сфера международных отношений в высокой степени субъективизирована. Политический курс даже в условиях демократической системы определяется узким кругом людей, а стратегии порой формируются в кабинетной тиши. Государственный строй, несомненно, влияет на механизмы принятия решения, но в меньшей степени, чем это принято считать. Сила демократии заключается не в расширении круга принимающих решение, а в их ответственности за последствия решений. Ключевые же решения лидерам

демократических государств приходится принимать нередко единолично.

Так что роль руководителей остается ключевой. В демократиях на роль руководителей общество выбирает себе подобных. Причем не таких, каковы они на самом деле, а какими они кажутся — благородными, достойными и симпатичными, но и не слишком, чтобы больше походить на обычных людей. Поэтому политики все больше и больше похожи на само общество, которое далеко не столь совершенно (и не всегда являются его элитой, как было прежде).

Все труднее становится понять политику государства, и уж тем более его внешнюю политику, без глубокого изучения общества, которое за ней стоит. Но легче описать общество, чем соотнести его состояние с внешней политикой государства. Частенько государства проводят такую политику, которая расходится с ожиданиями большинства общества. И не всегда из такой политики что-то следует, как для государства, так и для общества.

Если наука довольно хорошо справляется с анализом макросоциального масштаба (цивилизация, нация, государство), то с микросоциальным анализом дела обстоят хуже. А роль микроисследований должна возрастать по мере прогресса глобализации. Все большее значение приобретает проблема самоопределения индивидов, их сознания, установок, взаимодействий. Так что не помешает думать о новых понятиях и методах, которые способствовали бы расшифровке связи между обществом и политикой. Вполне возможно, какую-то пользу в интерпретации внешней политики принесет понятие экзистенциального кода общества. Это категория зыбкая и туманная, больше литературная, чем научная. Созидать этот неопределяемый код должны ключевые слова, которые формируют ментальность общества<sup>12</sup>. А поскольку международные отношения продолжают оставаться сферой непрозрачной, ускользающей от рационального анализа, то экзистенциальный код может на что-то согдиться.

Экзистенциальные социальные коды все точнее отражают ментальность политиков по отношению к обществу. В связи с этим возникает вопрос: как может свидетельствовать о сегодняшних обществах тот факт, что личности, причастные к руководству международными отношениями, становятся все менее харизматичными? Среди мировых лидеров, и особенно среди руководителей международных организаций, похоже, исчез тип харизматичной личности. Эта закономерность, по всей видимости, имеет глубокие корни. Поэтому, вместо того чтобы жаловаться на дефицит харизмы, надо просто примириться с этой констатацией.

## 2. Политика и эмоции

Концепция национального государства, являющаяся основой современного международного порядка, заставляет ассоциировать внешнюю политику государства с тем, как сама нация видит свою роль в международном сообществе, каковы ее представления о ценностях, о своих притязаниях и своем предназначении, ее отношение к соседям. Национальные взгляды, представления, восприятие мира — это равнодействующая современного состояния духа народа и его исторического опыта.

В течение многих лет огромную роль в национальном мироощущении играли стереотипы. Отмечено ими было и польское мышление. Период формирования современного национального сознания поляков, который совпал с травматическим опытом жизни в разделенной стране, неизбежно пропитал наше сознание предубеждениями против немцев и русских. Каждый болезненный опыт в отношениях с соседями в XX веке только укреплял стереотипы. Во времена ПНР власть, с одной стороны, акцентировала предубеждения в отношении немцев, а с другой — создавала видимость переворота в сознании по отношению к русским. И как

результат — начисто лишенная общественного доверия политика и в одном и в другом направлении.

Национальные стереотипы продолжают оставаться одним из ориентиров при выработке политики. Иногда их используют для ее легитимизации, иногда они являются балластом в ее проведении. Понятно, что китайским властям не потребовалось много усилий для мобилизации людей, чтобы они вышли на улицы в 2005 году на марши протеста против японских притязаний на место постоянного члена Совета Безопасности ООН или же в 2010 году, чтобы они поддержали жесткую политику в территориальном споре относительно островов Сенкаку (Дяюйдао). В свою очередь, российской политике очень трудно было избавиться от стереотипа Америки как смертельного врага с времен холодной войны, когда пал биполярный мир и все ожидали новой конфигурации отношений России с Западом.

Несомненно, глобализационные процессы снижают остроту стереотипизации национальных представлений. Прежде всего потому, что глобализация делает отношения с миром более прагматичными, открывает общества миру и благодаря ускорению темпа событий упрощает историю.

\* \* \*

Одни народы, долгое время традиционно не пользовавшиеся симпатией, вдруг становятся по крайней мере нейтральными по шкале национальных чувств, а те, кого всегда воспринимали доброжелательно, перестали считаться партнерами. Это относится не только к продолжительному историческому периоду. Показательно, как изменялась в Польше в первые годы XXI века «температура чувств» в отношении США. Так, проатлантическая и проамериканская Польша в 2010 году демонстрировала низкий уровень поддержки американского руководства и ниже средней по Евросоюзу степень признания того, что НАТО по прежнему играет важнейшую роль гаранта безопасности<sup>13</sup>.

Изменения национальных представлений о других странах стали не только стремительны, они стали более глубокими, и отношение к другим странам больше не подчиняется дихотомии «враждебность—дружелюбие». На страны смотрят скорее с точки зрения «полезности» (или ее отсутствия), а не симпатии. Рациональность постепенно берет верх над эмоциями, но и эмоциональный образ другого государства играет не меньшую роль в формировании политики.

Джозеф Най-младший, который ввел в оборот понятие мягкой силы (*soft power*), пришел к выводу, что глобальная политика стала ареной соперничества за место в рейтинге доверия. «Мир традиционной политики силы (*power politics*) стоял в основном на мощи военного или экономического потенциала, но сегодня, в эпоху информации, сила заключается в привлекательности послания, идеи»<sup>14</sup>. При этом соперничество за более высокое доверие к своим идеям происходит не только между правительствами отдельных государств. В соперничестве за представительство в международных органах, за положение в них для своих представителей, за право принять важные международные конференции, открыть у себя штаб-квартиры международных институтов, провести спортивные, культурные и другие мероприятия — ключом к успеху является благоволение других правительств. Его завоевывают разными способами, в том числе и с помощью финансового поощрения, благодарности. То и дело в СМИ появляются выражения сожаления государств, проигравших в борьбе за место в Совете Безопасности или за право организации всемирной выставки Экспо. Они доказывают, что соперничество было не до конца честным и что победители обеспечили себе голоса государств обещаниями безвозмездной финансовой помощи, контрактов, инвестиций. В контексте борьбы за право проведения спортивных соревнований всплывали даже аферы со взятками. В дипломатической игре за поддержку в голосовании на сессиях ООН пока еще не было

обвинений в коррупции, что вовсе не значит, что в кулуарах не ходили сплетни на эту тему. Одно несомненно: расширяется поле мировой политики, в которой положение государства определяется не узами зависимости, не иерархическими системами, а симпатиями других стран, причем порой совершенно бескорыстными. Просто одни государства чисто внешне воспринимаются лучше, чем другие. А политический имидж является продуктом многих факторов, и хотя он прежде всего результат содержания политики, но все чаще дело зависит от формы.

Это тот фактор, который приобретает особую значимость, в частности, для Польши. Все наши соседи уже знают, что Польша способна твердо заявить о своих интересах. Однако проблемой остается наш политический имидж. И не только в Европе. В мире он только отчасти является функцией нашего членства в ЕС и НАТО. Нам еще очень много предстоит сделать самим. Польские интересы решаются в Евросоюзе, НАТО, в отношениях с США, Германией, Францией, Россией, Украиной и другими партнерами, в том числе и с соседями. В «большом мире» польские стратегические интересы решаются через ЕС. Есть в «большом мире» также и экономические интересы, которые нужно обеспечить, хотя они редко бывают стратегическими. Все остальные элементы дипломатической повестки дня сводятся к созиданию имиджа (престижа). Так же это выглядит на форумах таких организаций, как ООН, Совет Европы, ОБСЕ. Эти организации в значительной мере то место, где создается имидж, причем в восприятии многих государств — и малых, и средних, и больших. Вопросы, в которых они становятся ареной борьбы за жизненные интересы государства, носят весьма избирательный характер. Особенно если речь идет о государстве, прочно встроенном в союзнические структуры (НАТО) и в коллективно проводимую политику (ЕС).

Что может оказать добрую услугу польской политике в завоевании имиджа в мире? Прежде всего ясное политиче-

ское послание государствам Юга, в котором были бы сформулированы принципы перестройки международного порядка, подразумевающие более высокую цену суверенности и солидарности; антиимпериализм; отказ от менторского тона; стремление наладить добрые отношения с набирающими силу странами Юга.

Однако мало снискать симпатию только правительств других стран. В наше время государства все больше борются за симпатии граждан других государств, причем делают это, обращаясь к ним напрямую, и не просто через голову их правительств, а и вопреки желанию последних. Знаменитая речь президента Обамы в Каире 4 июня 2009 года, которую оценили как новое открытие Америки для исламского мира, была яркой попыткой завоевать симпатию мусульман, причем вопреки, по крайней мере, воле нескольких недоброжелательно или враждебно относящихся к Америке правительств (тогдашняя Ливия, Сирия). Завоевание расположения простых граждан в мире — вот в чем суть публичной дипломатии. Ее роль будет неуклонно расти. Проблема в том, что публичная дипломатия, осуществляемая через официальные правительственные каналы, значительно менее эффективна, чем непосредственное воздействие неправительственных субъектов: СМИ, научных институтов, культурных организаций, мира бизнеса, неправительственных организаций. Но самое эффективное воздействие является результатом прямого контакта между людьми. Государствам присуща естественная тенденция более или менее тщательно контролировать любые каналы, инспирировать выгодные для правительства сигналы. Тем не менее необходимо согласиться с тезисом, что подобный подход малоперспективен. Так, сегодня правительственные радиостанции, официальные бюллетени и ленты новостей и даже правительственные интернет-сайты оказывают все более слабое воздействие на мир. Как бы банально это ни звучало, но самый эффективный метод завоевания симпатий в мире — дать людям возможность контактировать непосредственно,

открыть собственную страну для мира и мир для собственной страны. Анализируя этот канал, Джозеф Най вводит в оборот понятие дипломатии граждан.

\* \* \*

Итак, политика — это игра воображения. Огромное и до сих пор еще во многом не открытое пространство — это связь между индивидуальными и групповыми образами, представлениями, идеями в международной политике. Возможно, нет другой такой области политики, в которой индивидуальные представления играли бы столь существенную роль. Парадоксальная черта последних лет — то, что по мере роста влияния мира на судьбы отдельных государств снижается роль внешней политики в политических процессах этих государств. Дипломатическая деятельность воспринимается индивидом как политически несущественная, а это создает для индивидуального восприятия иллюзию большей свободы. В этом смысле международная политика стала более волюнтаристской, чем когда бы то ни было. Однако это лишь видимость. Не только потому, что это волюнтаризм скорее из области желаемого, чем реального (ибо снижается управляемость международного сообщества).

Классический хрестоматийный рецепт здоровой дистанции между индивидуальным и групповым представлениями можно вывести из данного когда-то Г. Киссинджером<sup>15</sup> описания величия. Если лидер своими идеями слишком опережает общество, то он обречен на потерю политического веса. Руководитель должен быть прежде всего терпеливым учителем, умеющим строить мосты между своими представлениями и той обыденностью, к которой привычно общество. Он также должен обладать способностью и волей для дальнейшего движения в одиночестве, во время которого к нему захочет и сможет присоединиться общество. Способность руководить могут реализовать только те лидеры, которые удачно сумеют расшифровать ментальность

общества, которые знают его психологию, но не идут у нее на поводу.

\* \* \*

Пожалуй, не найти более благодатного материала для анализа влияния представлений (индивидуальных и групповых) на международную политику государства, чем французская дипломатия XX века. Она демонстрирует две крайности — гиперактивность и гиперпассивность, и обе являются продуктом буйной национальной фантазии.

Победа в Первой мировой войне досталась Франции ценой расстроеной психики. Коллективным политическим воображением французов завладело жуткое видение катастрофы, какую могла бы принести Франции очередная большая война. Французские политики вытесняли из сознания возможность новой войны, причем делали это успешно и после того, как в сентябре 1939 года Германия начала войну. Франция, обладавшая не только в период Веймарской Германии, но и после ремилитаризации страны Гитлером значительным военным превосходством над Германией, исходила в своей политике из предположения, что сдерживание Германии ей не по силам. Она не решилась на военный ответ даже тогда, когда немецкие колонны вступили в Рейнскую область, хотя отпор им не представлял никакой трудности. Это чувство несостоятельности и покорности судьбе сопровождалось психологической зависимостью от Великобритании. Франция была не в состоянии вести более амбициозную политику на европейской сцене, если не чувствовала поддержки со стороны Великобритании. Еще надолго осталось во французской психологии убеждение, что единственный способ противостоять Германии — это держать ее в состоянии раздела. Вполне возможно, что французо-немецкое сближение и примирение после Второй мировой войны оказалось легким и эффективным не только потому, что французы выступали с позиции победителя, но еще и потому, что Германия находилась в состоянии

политико-стратегического разделения. Это еще многие годы звучало бы как недостойная выдумка, если бы не удивительное и резкое сопротивление Миттерана перспективе объединения Германии сразу после падения Берлинской стены. Оказалось, что самой близкой для Германии Франции надо больше времени, чтобы свыкнуться с логикой вхождения ГДР в состав ФРГ, чем Советскому Союзу, для которого объединение Германии означало качественное изменение параметров безопасности.

Межвоенная Франция была типичным примером государства, ведущего политику, сформулированную в соответствии с кодом, в основе которого лежит защита биологической субстанции нации, устранение возможности очередного конфликта, политическая защита собственного статус-кво даже за счет друзей и союзников. Это была политика неверия в свои силы и недооценки своих возможностей, которая неизбежно превратилась в самоисполняющееся пророчество. Эта психологическая слабость маскировалась дерзкой политической риторикой, а панический страх — неуступчивостью<sup>16</sup>.

Де Голль дал Франции новую политическую ментальность. Он принципиально перекодировал политику страны. Причем сделал это и в трудное для идентичности французов военное время, и в другие времена — в годы V Республики, когда у Франции не было, а если и было, то очень мало, аргументов для державной позиции на международной арене, во всяком случае их у нее было меньше, чем у других великих держав. Де Голль сумел укоренить во французах убеждение, что «Величие Отчизны измеряется не только показателями промышленного производства или мощностью бронетанковых дивизий [...], что у Франции есть еще душа»<sup>17</sup>.

Он беспрестанно повторял французам, что «Франция должна быть великой, чтобы сохранить свою идентичность»<sup>18</sup>. Он доказывал, что «[...] если она не будет обладать масштабом великой державы, если у нее не будет боль-

шой политики, она будет ничем»<sup>19</sup>. В качестве аргумента в защиту своей идеи он приводил судьбу Португалии — некогда колониальной державы, которая, теряя имперские позиции, скатилась в конце концов на периферию европейской политики в современное де Голлю время. Де Голль в определенном смысле был предтечей концепции мягкой силы. Во времена, когда сила государства измерялась если не количеством дивизий, то атомных боеголовок, он убеждал, что «величие опирается также на духовное богатство, культуру и французскую миссию в мире»<sup>20</sup>. Код деголлевской политики исходил не из специфического индивидуального опыта. Он был выведен из синтеза национального наследия и национального опыта. Величие де Голля, несомненно, состояло в способности этого человека актуализировать глубоко закодированные в национальном сознании понятия, чаяния и притязания.

С позиций сегодняшнего дня понять политику де Голля было бы очень трудно. Ведь он вносил раскол в Западный мир в тот самый период, когда единство было условием успешного сдерживания наступавшего мирового коммунизма. Он был противником федеративной европейской интеграции, и мысль об общей валюте, прямых выборах в Европейский парламент, об общей внешней политике наверняка вывела бы его из себя. Он наверняка не согласился бы с глобализационным взаимопроникновением культур и цивилизаций. Те, кого в сегодняшней Франции считают его политическими наследниками, проводят такую политику, с которой он не согласился бы если не полностью, то хотя бы частично. Тем не менее он остается и для Франции и для Европы знаковой фигурой.

\* \* \*

В эпоху глобализации возникла потребность в анализе влияния культурного фактора на формирование внешней политики. Над исследованиями внешней политики вновь воспарил дух Макса Вебера. Сто лет назад он сформули-

ровал тезисы о влиянии религии на развитие цивилизации. Он настаивал на том, что протестантизм в его кальвинистской форме стал фундаментом промышленного капитализма и ключом к цивилизационному прогрессу Запада. Потому что кальвинизм способствовал внедрению такой этики повседневной жизни, элементами которой были тяжелый труд, честность, серьезность, уважение к деньгам и к времени. Этика стала компасом при проведении коммерческих сделок и в накоплении капитала. Взгляды Вебера вызвали шквал критики со всех сторон — от марксистов до приверженцев католической социальной мысли. Казалось, что критика была столь успешной, что отправила веберовские тезисы в архив социальной мысли. Однако финансовый кризис 2008–2010 годов сдул с них пыль и дал им возможность еще раз блеснуть. Внезапно явившаяся миру подлость «казино-капитализма» (в том числе и впечатляющий девятиллионный «пузырь» недвижимости в США) дала толчок для высказываний о моральном крахе протестантской этики. А поскольку финансовый кризис совпал со спекуляциями на тему ослабления Запада как глобального лидера, то и причинно-следственная цепочка должна была начинаться в этих рассуждениях с кризиса протестантизма. Дескать, кризис протестантизма, который начался с утраты традиции богослужений (все более пустые церкви по воскресеньям и по праздникам), обрушился на ментальность людей. Традиционные протестантские ценности были вымыты из сознания, а моральный хребет сломан. Вот таким образом Запад стал терять право на моральное лидерство в мире. И что интересно: тезис о кризисе протестантизма как причине заката Запада активно обсуждается другими ветвями христианства, в том числе в его православной части.

Проблема состоит в том, что народы и государства быстрее изменяют динамику развития (набирают силу или хиреют), еще быстрее меняются их отношения с внешним миром, но процесс изменения этических, культурных, рели-

гиозных традиций чрезвычайно консервативен. Китай сделал ускорение без прививки новой веры. В свое время Вебер пытался доказать, что виновником китайского цивилизационного застоя является отчасти конфуцианство, но отказ от него 60 лет назад в пользу коммунистической идеи не принес ничего хорошего. Также трудно ассоциировать резкое ускорение Китая в последние годы с христианизацией (в его протестантском варианте)<sup>21</sup>. Даже если бы количество протестантов увеличилось в Китае на несколько десятков миллионов, то в масштабе страны это не привело бы к качественным изменениям.

Сэмюэль Хантингтон заново открыл религию в качестве движущей силы международных отношений. Его теория столкновения цивилизаций завладела умами, потому что ее проявление совпало с нарастающей напряженностью в отношениях между Западом и исламским миром. Америка, в частности, не сумела понять источник трудностей в своих отношениях с арабскими государствами и странами Среднего Востока (Иран, Афганистан, Пакистан). Влияние на эти отношения арабо-израильского конфликта не могло объяснить все. Впрочем, по сути, религиозный фактор объясняет не так много. Отнюдь не ислам стал причиной фрустрации мусульманских обществ, и не в нем причина экономической стагнации этих государств. Статичность обществ в большей степени связана с историческими событиями (например, экспансией монголов, которая утвердила контроль из центра как способ организации социально-экономической жизни мусульманских государств с целью защиты от внешней угрозы), чем с религиозной доктриной ислама<sup>22</sup>. Можно найти такие мусульманские общества, которые сумели продемонстрировать экономический успех (Турция). Не является ислам и доктриной конфронтации с Западом. Он просто стал удобным предлогом. А наделение его антизападной риторикой подогревало эмоции, которые, между прочим, позволяли заполнить мечети. Очень часто это оказывалось на руку властям предрержащим.

Действительно, до сих пор на Западе распространены взгляды, усматривающие причину стагнации арабского мира в доктрине ислама, причем взгляды эти в ходу не только среди политиков-радикалов. Это скорее реакция на появляющиеся в арабских странах лозунги, утверждающие, что «ислам — это решение всех проблем». На самом же деле ислам не является ни решением, ни проблемой, точно так же как и другие религии. Как политически ошибочно искать причины стагнации в исламе, так же неправильно возлагать вину за стагнацию на внешние факторы, прежде всего на колониализм и неоимпериализм<sup>23</sup>.

\* \* \*

В социологических теориях международных отношений видное место занимают теории элит. С Карла Маннгейма не прекращаются спекуляции на тему господствующего влияния на международную политику со стороны закрытых олигархических кругов, которые формируют международную политику, чтобы обеспечить себе как можно более долгое пребывание у власти. Вот и глобализация тоже создала новую глобальную элиту, призванную соответствующим образом управлять процессами интернационализации жизни. Вызов десятилетия — «противостоять новой глобальной плутократии — сверхобразованным, открытым миру меритократам», этим главным бенефициариям глобализации<sup>24</sup>. Как знать, может быть, теория плутократии — единственное эффективное средство оживить международную левую мысль. И это несмотря на то, что Элвин Тоффлер довольно убедительно показал закат концепций кастово-элитарной организации международных отношений.

Было время, когда решение всей проблемы, то есть прежде всего характер антагонистического соперничества в международных отношениях, искали в веберовской концепции рациональности человеческой деятельности, бюрократии. Ее с успехом можно рассматривать в качестве

идеологического фундамента Еврокомиссии. Исходя из того, что бюрократия является лучшим образом организованной и наиболее рациональной из систем деятельности, а проблемы в международных отношениях появляются от избытка эмоций и слабости рационального мышления, то довольно будет, согласно этой теории, подвергнуть международную политику воздействию рационалистических бюрократических механизмов, чтобы проблемы и противоречия в международных отношениях со временем органически приходили к своему конструктивному разрешению. Бюрократизация процесса решения политических проблем стала своеобразным методом работы Евросоюза. Развитие международных институтов в мире послужило основанием для утверждения, что создание всемирного бюрократического механизма — это рецепт для решения всех мировых проблем. Но Макс Вебер подвел и на этот раз. Во-первых, потому что бюрократические механизмы стали восприниматься в массовом сознании как ограничение свободы действий людей и их взаимодействия в международном масштабе. Международные бюрократические институты обросли не лучшей славой, а их право на существование стало вызывать все больше вопросов. Во-вторых, кризисные ситуации (и в политическом, и в финансово-экономическом измерениях) выявляли ограниченную эффективность бюрократического метода и делали ее слабости (инерционность, медлительность, недостаток гибкости) еще более заметными.

\* \* \*

Еще более экзотически выглядят разные спекулятивные теории о влиянии языка на ментальность и умственные способности человека. Повседневная дипломатическая деятельность порой склоняет человека к выводу, что в этом что-то есть, ибо часто дипломаты, говорящие друг с другом на понятном и нейтрально-общем для всех собеседников языке (как правило, это английский язык), не могут понять

мотивов партнера. Есть и такой тезис, что выбор рабочего языка для определенного рода переговоров влияет на темп согласования решений. Похоже, что английский лучше всего подходит для переговоров на экономические и торговые темы. Потому что этот язык требует точности и навязывает точность формулировок благодаря своей простоте. В то же время он затрудняет согласование политических текстов. Здесь лучше всего подошел бы французский с его способностью создавать многозначность. Но международная практика вытеснила французский на обочину. Языком международных переговоров по вопросам политики, безусловно, является английский. Не потому ли так трудно проходят переговоры, например в ООН, по важным политическим декларациям?

Далеко идущие выводы о том, что язык определяет наше восприятие мира и мышление, оказалось легко опровергнуть. Они исходили из наличия высокой степени лингвистической относительности, то есть влияния языка на ту картину мира, которая возникает в нашем сознании. А вот более скромным гипотезам удалось гораздо дольше удержаться на поверхности.

Одна из них гласит, что лингвистическая относительность проявляется в трех аспектах: в восприятии цветов, в пространственной ориентации и грамматическом роде<sup>25</sup>. Она отвергает фундаменталистские тезисы Сепира—Уорфа о том, что «говорящие на разных языках живут в разных мирах».

Впору было бы решить, какое влияние на восприятие геополитики имеет у славян тот факт, что названия основных географических направлений тождественны с определениями положения Солнца. Может ли обращение к Солнцу когда-нибудь дать чувство комфорта в интеграции с Западом? Продолжая в том же духе: влияет ли на славянское отношение к кровопролитию то обстоятельство, что ключевое для понимания природы мира слово «война» — женского рода? Есть ли другие языки, неславянские, которые смогли бы так

нежно обращаться к войне? Как перевести на иностранные языки легкость и очарование песни «*Wojenko, wojenko, cożeś Ty za pani*»?\*

Разумеется (и это серьезно) язык не влияет на ментальность и экзистенциальный код. Значительная часть ментальности — это невербализированные и не требующие вербализации образы и понятия.

### 3. Европейские невроты в эмансипирующемся мире

Глобализация не столько изменяет, сколько выступает катализатором изменения ментальных качеств. Сама по себе глобализация не изменила ментальности Европы или Азии, но она чрезвычайно взвинтила темп этих изменений.

Если говорить о Европе, то четыре фактора играют главную роль в формировании новой ментальности, без которой невозможно понять европейскую внешнюю политику.

Во-первых, это старение европейских обществ. Изменение демографической структуры, несомненно, оказывает воздействие на ментальность общества как целого. Падает энергия изменения, которая всегда концентрировалась у подрастающего поколения, в среде экономически активного населения, формирующего свой профессиональный, социальный, материальный статус. Финансово-экономический кризис 2008–2010 годов нанес ментальности молодого поколения ощутимую травму. Во многих странах безработица среди молодежи достигла рекордных уровней. В прошлом такое положение углубляло конфликт между поколениями. Сегодня все наоборот: молодые люди борются не

---

\* «Ах, война-войнушка, что же ты за цаца [если за тобой на смерть идут такие мальчишки-красавцы?]» — первые строки польской солдатской песни времен Первой мировой войны. — *Прим. переводчика.*

столько за рабочие места для себя, сколько за сохранение рабочих мест за своими родителями. А толпы французской молодежи, вышедшей на улицы осенью 2010 года, требовали вовсе не повышения качества образования, которое дало бы им более высокие шансы на рынке труда, а протестовали против повышения возраста выхода на пенсию, что уменьшает шансы получить работу входящим в активный возраст поколениям.

Во-вторых, ментальность Европы изменил уровень достигнутого благосостояния. В течение веков неотъемлемой частью западного общества была погоня за благами, личным достатком. Сегодня Запад, и уж наверняка его европейская часть, отвергает богатство как цель общественного и личного развития<sup>26</sup>. В некоторых странах Западной Европы работники не только в связи с экономическим кризисом с пониманием воспринимают сокращение оплаты их труда в обмен на сокращение рабочего времени. Нередки случаи, что работники сами выступают с такой инициативой. В Секретариате Совета Европы в Страсбурге, где существуют весьма щедрые отпускные лимиты, часто практикуется «покупка» работником права на дополнительные свободные от работы дни.

Богатство для многих перестало быть источником счастья (похоже, на определенном уровне накопленного богатства дальнейший его прирост уже не делает человека счастливым), а потому переворот в сознании имеет абсолютно рациональное обоснование и неопровержимо свидетельствует о том, что Запад уже достиг такого уровня богатства, который позволяет удовлетворить потребности человека в соответствии с лучшими стандартами человеческой цивилизации. Адам Смит, призывавший признать погоню за богатством в качестве цели общества, верно, переворачивается в гробу. Что ж удивительного в том, что президент Франции предложил в сентябре 2009 года, чтобы в докладе двух лауреатов Нобелевской премии — Джозефа Стиглица и Амартьи Сена — экономическое развитие государств пере-

стать измерять с помощью традиционных показателей ВВП, а использовать вместо них параметры, которые передавали бы уровень достигнутого счастья (удовлетворенности жизнью). Первым, кто с трибуны ООН предложил всеобщее применение «индекса национального счастья брутто», был Бутан (страна, где четверть населения живет ниже границы бедности, а политика, направленная на повышение уровня счастья, предполагает запрет рекламы, пластиковых пакетов и уличных светофоров). Это правда, что показатель ВВП не отражает таких важных вопросов, как уровень услуг (особенно медицинских), характер производимых товаров (производство оружия, например, повышает ВВП, но не увеличивает реального богатства), а также долгосрочные последствия, например экологические процессы. Европа перестает считать богатство эквивалентом благополучия.

В то же время переворот в противоположном направлении происходит на Востоке. Культура азиатского Востока, основанная на примате духовных ценностей, ищущая счастье не в обладании имуществом, а в духовном равновесии, отступает перед напором экстремального потребительства. В первой половине 2010 года экспорт немецких (по большей части класса «люкс») автомобилей в Китай вырос на 300% (с 40 тыс. до почти 130 тыс.), и это при остающемся на низком уровне курсе юаня (в 2009 году прирост продаж автомобилей составил «всего» около 40%). Китай стал для немецкого автопрома шестым по значимости рынком сбыта в мире. Китайский консьюмеризм, безусловно, помог Европе (и наверняка Германии) выбраться из кризиса.

Презрение к вещизму, которое в течение многих поколений воплощали политические и общественные лидеры (наподобие Ганди), отступает под напором потребительства. Это на руку Западу, потому что без растущего внутреннего спроса в Китае и в Индии мировая экономическая конъюнктура пострадала бы еще сильнее.

Но речь идет не только об уровне благосостояния. Невозможно понять процессы, происходящие на высших

уровнях мировой политики без понимания той принципиальной перемены, которая произошла в ментальности современного человека, особенно на богатом Западе. «Высшая ценность и главная цель усилий человека — долгая и удавшаяся жизнь, позволяющая потреблять все то приятное, что может храниться в кладовых судьбы»<sup>27</sup>. Как редко когда в истории, люди теперь делают все, чтобы только «отсрочить смерть». Жизнь стала единственным шансом «испытать бессмертие». Вполне возможно, что на богатом Западе никогда не дойдет до эрозии концепта абсолюта, понятия Бога, но будет укрепляться синдром неизбежности смерти. «Бессмертие потеряло самое важное и самое привлекательное свойство — гарантию неотвратимости и бесповоротности»<sup>28</sup>. А поскольку нация и семья были основными «коллективными мостками, ведущими в бессмертие», то и их ценность снизилась в индивидуальном восприятии. К этому добавилась еще глобализация, ослабляющая национальное государство. Это, конечно, не означает исчезновения патриотических чувств, но они приобрели совершенно иное измерение и иные границы. Нация остается точкой отсчета в самоидентификации, категорией коллективной идентичности, причем отнюдь не мимолетной, не преходящей. Патриотизм, однако, должен подстраиваться к получившей новое содержание ценности жизни. Новые подходы объясняют, почему Запад вынужден оперировать понятием необходимости военного вмешательства\*, развивать тактику (по крайней мере для СМИ) точечных ударов. Афганские талибы уступают западным военным во всех отношениях — в подготовке, оснащении, в четкости руководства, снабжении и т.д. Но у них, похоже, есть одно преимущество — они меньше боятся смерти.

Третий фактор изменения ментальности европейцев — влияние новых технологий и особенно Интернета. Можно

---

\* Применяется также термин «гуманитарная интервенция». — *Прим. ред.*

по-разному относиться к тезису, что простота коммуникаций изменила сущность социальных связей, привела к возникновению «сетевых сообществ». Однако, не подлежит сомнению, что новые информационные технологии изменили формы социальной жизни. Даже «застойным» обществам Западной Европы они придали новую динамику. Социальные пирамиды сгладились, то есть не столь очевидными стали материальное расслоение, углубление различий между глобализационной плутократией и вечно отверженными. На богатом Западе даже вечно отверженные испытывают полное ощущение доступности товаров и услуг, которые дают иллюзию «жизни в бессмертии», а коммуникационные возможности, особенно Интернет, формируют иллюзию того, что общество принимает тебя и ты являешься его частью. Выросла степень взаимодействия. Однако технические инновации обозначили синдром отставания. Если у тебя нет профиля на Facebook, если ты не сидишь в Twitter, не делаешь интернет-покупок, возникает множество поводов ощущать комплекс неполноценности. Темп появления технологических новинок усиливает стресс.

В-четвертых, Европу изменила иммиграция. Вот уже несколько лет имеет место ускоренный приток мигрантов в Европу. С 2002 года численность иммигрантов в государствах ЕС возросла на 30%. Перемещение людей между странами ЕС увеличилось на 50%. В 2006 году в странах ЕС осели около 3,5 млн мигрантов, из которых 1,8 млн въехали из-за границ ЕС. В итоге европейские мигранты (в их числе и те, что сменили место жительства внутри ЕС) составили 55% европейского миграционного потока. Это эффект «большого расширения» ЕС в 2004 году. Половина мигрантов моложе 29 лет, то есть наиболее динамичные и омолаживающие общество люди.

Иммигранты объективно являются фактором роста в стареющих европейских обществах. Но они же и источник проблем. В Германии более 15 млн человек имеют иммигрант-

ское происхождение, и в этом плане Германия уступает лишь Америке, а канцлер А. Меркель в 2010 году объявила о крахе политики мультикультурализма. По крайней мере в нескольких европейских обществах иммигранты (люди с иммигрантскими корнями) превысили 10% населения (Швеция — 13,8%, Испания — 13,8%, Германия — 11,6%, Греция — 11,1%, Франция — 11%, Голландия — 10,9%). Похоже, что десятипроцентный уровень — это та граница, за которой интеграционные проблемы начинают переходить в разряд политических. Усиление политического экстремизма в таких странах, как Нидерланды или Швеция, является отражением проблемы интеграции иммигрантов. Ибо речь идет об обществах, которые в течение долгих лет были образцами толерантности и открытости.

До 2050 года население Евросоюза должно возрасти на 10 млн человек. В то же время ресурсы рабочей силы должны сократиться на 50 млн человек. Перед европейцами стоит явная дилемма: или согласиться на снижение уровня обеспечения в старости, или смириться с иммиграцией. Такая дилемма трудно укладывается в сознании. Иммиграция — фактор нагнетания страха среди западных европейцев.

З. Бауман видит истоки страха перед чужаками, корень племенной воинственности и политики исключения чужаков из жизни своего общества в противопоставлении свободы и безопасности<sup>29</sup>. Он предрекает вовсе не нейтрализацию облика чужаков, а трибализацию политики, эру этнических чисток и «балканизации человеческого существования». Будем надеяться, что прогноз этот не сбудется.

\* \* \*

Демографические изменения в Европе повлияли не только на ментальность общества, они подтолкнули к диагностированию жизнеспособности европейских структур международного сотрудничества. В этом плане европейский экзистенциальный код должен быть отмечен синдромом «кризиса среднего возраста»<sup>30</sup>.

Им можно объяснить признаки политического застоя в рамках Евросоюза в последние годы. После своего пятидесятилетия Евросоюз, кажется, потерял смысл существования. На заре Евросоюза таким смыслом было предотвращение очередной европейской войны; именно об этом мечтали в первую очередь отцы-основатели Союза. Позже его идеей стала стратегия развития и процветания. Но богатые общества Западной Европы уже ощущают в этом плане полную удовлетворенность. Каждая новая идея, наполняющая смыслом существование, — обеспечение стабильности в геостратегическом окружении Европы, продвижение ценностей в мире (запрет смертной казни, права уязвимых групп населения — женщин, детей, гомосексуалистов) — не становилась стимулом для европейского общества. (А жаль. Уже сама задача подтягивания Восточной Европы до уровня благосостояния Запада могла бы стать серьезной экзистенциальной мотивацией для Евросоюза. Однако этого не произошло. Участие в Союзе скорее напоминает благотворительность, чем чувство миссии.)

Осталась забота о достойной старости, то есть защита социальных привилегий, но прежде всего — хорошей пенсии. Но это никак нельзя считать идеей, которая служит формированию активной политики изменения мира к лучшему. Все, что грозит перспективе надежно защищенной старости, особенно участие в войнах, конфликтах и столкновениях в мире, не пользуется поддержкой в Европе.

А что если перенести возрастные образы на состояние духа НАТО? После шестидесяти лет в организации должна уже начаться психологическая подготовка к пенсии. Действительно, нет недостатка в комментариях, сулящих Североатлантическому союзу переход в фазу затухания<sup>31</sup>.

«Вторая» европеизация, похоже, и есть шанс омолодить НАТО, вернуться к географическим истокам коллективной обороны. Вторая европеизация — это субъективизация Евросоюза как трансатлантического объединения по безопасности.

В свою очередь, Совет Европы — ровесник НАТО, уже давно характеризующийся как в высшей степени полезная, но в политическом отношении отживающая свой век организация, похоже, подтверждает действие в сфере международных институтов так называемой кривой счастья, которая характеризует ментальность человека. Эта кривая отражает тот факт, что больше остальных довольны жизнью подростки и люди пожилого возраста. Пожилые люди уже смирились со своей жизнью, у них больше нет иллюзий относительно того, что они еще могут достигнуть в ней, они тешатся даже маленькими радостями повседневности. Точь-в-точь как Секретариат Совета Европы.

Но серьезной европейской проблемой продолжает оставаться не столько солидный возраст этого института, сколько отсутствие единого видения будущего, а причина этого отсутствия — дефицит институционального единства европейского сотрудничества. В 2010 году появились два важных доклада о будущем Европы и была начата подготовка третьего. Доклад Ф. Гонсалеса был подготовлен по заказу Евросоюза, так что ничего удивительного, что он сосредоточен на странах Евросоюза. Доклад группы М. Олбрайт делает акцент на европейской безопасности, которая, естественно, рассматривается в североатлантическом контексте, поскольку заказчиком исследования было НАТО. Доклад, подготовкой которого занялась группа под руководством Й. Фишера, должен представить видение европейского будущего в панъевропейском измерении (The pan-European Project), потому что его готовят под эгидой Совета Европы. Пока что нет докладов по Европе в аспектах ОБСЕ и Европейской экономической комиссии (включая сотрудничество с государствами Средней Азии). Стороннего наблюдателя такая ситуация несколько обескураживает: чтобы иметь полную картину Европы, надо сопоставить несколько докладов и извлечь соответствующие выводы. Из-за наличия массы институтов картина Европы получается фрагментарной. У нас столько Европ, сколько институтов.

\* \* \*

Ментальность никогда не формируется в изоляции. Большинство эмоций, в том числе и коллективных, имеет своим истоком сравнение себя с другими. В европейской ментальности на протяжении последних двух веков, а в XX веке в особенности, особую роль в формировании комплексов и излечения от них (впрочем, с явным перевесом формирования) играла Америка. А потому европейскому коду присущ невроз, источником которого является Америка<sup>32</sup>.

Европа, с одной стороны, ожидает, что США будут играть неблагодарную роль мирового жандарма, а с другой — отказывает Америке в праве решать судьбы мира. Европейский невроз в таком понимании был замечен уже во времена холодной войны. Европа хотела в полной мере пользоваться преимуществами американского ядерного зонтика, но одновременно предъявляла права на специфические отношения с Советским Союзом. Она давала Москве понять, что если СССР замыслит нападение на Европу, то ей придется иметь дело с полномасштабным участием США в обороне континента. Но если СССР пришлось бы отвечать на конфронтационные действия США, то он должен был иметь в виду, что Европу следует оставить в покое. В эпоху после холодной войны Европа еще больше дистанцировалась от Штатов. Она стремилась воплотить более высокую, более зрелую, постмодернистскую модель международных отношений. Американское же поведение, напротив, оставалось под влиянием синдрома силы, мощи, господства. Европа предъявила права на моральное превосходство, уклоняясь в то же время от ответственности за решение неблагодарных проблем международной безопасности. В результате Европа находится сегодня в состоянии фрустрации от перспективы быть отодвинутой союзом США–Китай от управления глобальными процессами. В то же время она сама не предлагает никаких элементов, подтверждающих ее притязания на роль мирового лидера. Нет также и реальной глобальной стратегии, которую проводили бы в жизнь политические

лидеры главных игроков европейской сцены. Самый беглый взгляд говорит, что Европе не хватает воли, стратегии, лидеров.

Этот дефицит Европа стремилась компенсировать кодированием в сознании людей чувства морального превосходства. Финансовый кризис, однако, послужил сигналом для пересмотра обоснованности этой оценки. Для элит развивающихся государств кризис стал доказательством неэффективности и несправедливости западной модели экономики и общественного устройства<sup>33</sup>. Впрочем, это вовсе не означает, что «восточная» модель устройства общества может претендовать на первенство. Это было бы явным отрывом от реальности. Однако кризис послужил поводом для распространения идеи, что отношения между Западом и восходящим Востоком должны опираться на прагматизм, быть свободными от идеологического бремени, исходить из экономического паритета между Западом и Востоком.

Проблема состоит в том, что «проповедь» является, по крайней мере для Европы, своеобразным клапаном безопасности в отношениях с миром (Америке в последние годы этого уже не хватало). Стык тысячелетий — по почти всеобщему мнению — стал в международной политике периодом растущего расхождения между двумя столпами западной цивилизации — США и Европой. Расхождения касались не конфликта отдельных интересов и объективных потребностей, а мировоззрения и методов решения мировых проблем. Европа отвергает силу как способ ответа на вызовы, склоняется к стабилизации международных отношений с помощью институтов, норм, порядков. Она отвергает концепцию равновесия сил, идеализирует постмодернистскую модель европейских отношений, исходящую из уважения к правам и интересам других субъектов, из решения конфликтов интересов с помощью компромиссов и переговоров. Европейской позиции противостоит американский подход, основанный на делении мира на сферы добра и зла, где субъекты отношений — союзники или враги, а инструмен-

ты воздействия — кнут и пряник (явно предпочитается кнут в своей руке)<sup>34</sup>.

Независимо от оценки точности диагноза политических позиций Европы и Америки, интересно рассмотреть причины различий, которые начали разводить Европу и Америку.

Различия в мировоззрении и взглядах на международную политику не являются отражением национальных черт американцев и европейцев. История последних трех столетий призывает смотреть на явления последних нескольких лет как на существенный поворот в политике Европы и Америки, как на своеобразную смену ментальностей и ролей. Европейская история в большой степени — это история конфликтов и войн. Европа была центром экспансии, господства, носителем политики силы. Американская же доктрина мирового порядка традиционно строилась на добродетелях закона, на примате торговли и бизнеса, на уважении чаяний других народов. Правда, идеализм и веру в мирные методы решения споров американцы провозглашали в своих отношениях с великими европейскими державами, забывая об этих принципах, когда дело касалось расширения влияния и контроля в других регионах<sup>35</sup>. Отмечаются две причины изменения взглядов и смены ролей Европы и США.

Во-первых, причиной этого явления стал исторический опыт. Последним из пережитых европейцами катарсисов была Вторая мировая война. Первая мировая война оставила глубокий след в ментальности нескольких европейских народов, прежде всего французов. Вторая мировая война перестроила ментальность почти всех народов Европы, даже СССР, где великая победа и статус сверхдержавы не стерли из памяти той цены, какую пришлось заплатить за них; если бы не это обстоятельство, конфронтация социализма с капитализмом могла в Европе выглядеть иначе. Код европейской ментальности тогда опирался бы на императив «лишь бы не было войны», такой войны, которая снова могла бы погубить европейские сообщества. Вся филосо-

фия европейских отношений после Второй мировой войны исходила из того, что надо предотвратить вооруженный конфликт. На этой программе вырос проект европейской интеграционной стратегии. Именно она стала основанием для одобрения Европой американского военного протектората во времена холодной войны. Она также объясняет ту легкость, с какой европейцы (в том числе бывшие колониальные державы) смирились с потерей международного влияния и уходом на второй план мировой политики. Психологический груз холодной войны, постоянное существование в атмосфере угрозы, синдром фронтовых государств — все это усугубляло травмы Второй мировой войны.

С другой стороны, удивляет, как быстро травматический опыт вьетнамской войны США был вытеснен из политической памяти. Казалось бы, вьетнамское унижение должно было навсегда вылечить Штаты от интервенционистской политики. Однако победа в холодной войне затмила издержки вьетнамского опыта. Она настолько идеализировала миссию американцев во Вьетнаме, что даже беспокойства в связи с американской акцией в Ираке и в Афганистане всего лишь на краткое мгновение оживили в памяти вьетнамский синдром. Америка не перестала верить в необходимость политики силы.

Второй причиной нарастающих различий между европейской и американской ментальностью стала диспропорция в мощи. Более сильные государства видят мир несколько иначе, чем более слабые. Первые стремятся из своей силы извлекать пользу, вторые — защищаться от последствий своей слабости.

С чувством относительной слабости Европа живет с конца Второй мировой войны, а отсутствие абсолютной безопасности испытывает вот уже много веков. В сознании европейцев глубоко укоренено, что их пространство никогда не было совершенно свободно от угроз, вызовов и неуверенности. В этом они отличаются от американцев, которые

долгие годы обожествляли безопасную удаленность своей территории от источников угрозы. С первых лет независимости они не опасались вторжения (даже после атаки на Перл-Харбор). У них были серьезные проблемы с признанием в своей доктрине неизбежности потерь в случае залпа советских баллистических ракет, а потом — корейских или иранских (отсюда возвращения к идее противоракетного щита). Европейский уровень страха и неуверенности, таким образом, значительно выше. Европейцы смотрят на несовершенство мира значительно более терпимо, чем американцы. Ни одну из опасностей они не считают сущностной. У американцев неудержимый рефлекс гасить силой источники угроз и опасностей в мире, а европейцы инстинктивно стараются освоиться со страхом и научиться жить с опасностью.

Проблема состоит также в том, что Европу обвиняют не только в желании возвести свою слабость в добродетель, но и сделать ее смыслом своей роли в мире. Европейская модель верховенства права в международных отношениях, отказа от политики силы, жесткой многополярности подразумевает распространение на весь мир, а процесс трансфера европейских решений должен стать новой европейской цивилизационной миссией<sup>36</sup>.

Возможно, публикации некоторых европейских политиков и экспертов, в том числе и Роберта Купера, могли вызвать сомнения в отношении постмодернистской политической миссии Европы в мире.

Объяснить это можно двумя факторами. Во-первых, Европа была занята прежде всего сама собой. Главный поток европейской политической энергии был направлен на внутренний интеграционный проект. Только с окончательным принятием Лиссабонского договора в 2009 году европейцы смогли начать освобождаться от навязчивого самоанализа. Много лет пройдет, пока возникнет эффективный общеевропейский инструментарий реализации глобальных притязаний, хотя Европа испытывает проблемы с тем,

чтобы проникнуть в сознание партнеров в мире с идеей своего нового коллективного существования. Большим унижением закончилась для Евросоюза попытка получить особое (хоть и по-прежнему не преимущественные) права в качестве постоянного коллективного члена Совбеза ООН на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 2010 году.

Во-вторых, в Евросоюзе, несомненно, отсутствует стремление к мессианской роли. Характерен, например, скептицизм представителей Западной Европы к идее активной пропаганды демократии в мире. Лишь «арабская весна» 2011 года несколько изменила эту позицию. Ранее европейцы с отнюдь не горячими чувствами присоединились к проекту Сообщества демократий (Community of democracies), который должен был стать основой всемирного демократического клуба. Они дистанцировались от доктрины Дж. Буша-младшего прививки демократии на Ближнем Востоке. Недоуменным пожиманием плеч часто реагировали они на отступление демократии в России (полагая, что русские по-другому не смогут). Они приглушили в себе и демократизационные надежды в отношении Китая. Если они дали американцам право нести знамя демократии в мире, то сами занялись вопросами прав человека. Причем европейцев в меньшей степени заботит пропаганда политических свобод — свободы собраний, слова, объединений и т.д. Европейская активность концентрируется на правах групп особенно уязвимых — женщин, геев, этнических меньшинств. А знаменем европейцев стала отмена смертной казни. Если в чем-то и можно заметить признаки цивилизационной миссии, то это касается исключительно отмены смертной казни. Европейский вклад в дело пропаганды прав человека выражен прежде всего в специфических требованиях, выдвигаемых Евросоюзом в своих политических и экономических отношениях с партнерами, и в критическом диалоге с партнерами.

Но много ли изменений несет этот вклад в действительности? Координационным фиаско закончилась жесткая

политика в отношении режима Мугабе в Зимбабве. Евросоюзу пришлось смягчить позицию (если не совсем забыть о ней) в отношении Кубы. Евросоюз был вынужден смириться с присутствием Мьянмы за общим столом во время встреч с азиатскими партнерами в рамках ASEM — института регулярных встреч между руководителями стран Юго-Восточной Азии и ЕС. Так что если Европа и несет какую-то новую цивилизаторскую миссию, то миссия эта в высшей степени прагматична и склонна к компромиссу.

Ближе к истине представляется противоположный тезис: Европа вылечилась от мессианства. Психологическим следствием постколониального синдрома стал отход Европы от цивилизаторской роли. Все, что Европа может сегодня себе позволить, это не обремененные последствиями «назидания».

Проблема не в том, что эти «назидания» — глас вопиющего в пустыне. Бывает и так, что они разжигают антиевропейские эмоции. Вот уже несколько лет в странах Юга высок уровень антизападных настроений. В политическом дискурсе они проявились со всей силой на Всемирной конференции ООН против расизма (Дурбан, 2001 год). С трибуны конференции лавиной неслись требования репараций за колониализм и рабство. В историческом и в современном измерениях ответственность за трудности развития Юга была возложена на Запад. Агрессивная антиизраильская риторика ряда стран Юга привела к тому, что вторая Дурбанская конференция в 2009 году подверглась бойкоту со стороны нескольких западных государств, в числе которых была и Польша.

Если «Дурбан» развязал языки политиков, то антизападные настроения в обществах самих западных стран нарастали давно. Травматический опыт колониализма был там задвинут в глубинные уголки коллективной памяти, но после долгих лет он вернулся и проявился с удвоенной силой. При этом сам Запад много сделал, чтобы эти травмы разбудить от долгого сна<sup>37</sup>. Причиной стало неоднозначное расставание с

колониальным прошлым. Бывшие колониальные державы часто получают упреки в двойственной ментальности в связи с их колониальным прошлым. С одной стороны, они признают, что несут моральную ответственность за политические трудности и экономическую эксплуатацию колониальных стран. С другой — считают себя авторами цивилизационного ускорения бывших колоний (просвещение, здравоохранение, инфраструктура). С одной стороны, их суды часто отказываются принимать иски за те страдания, которые довелось испытать их бывшим колониальным подданным. С другой — они продолжают чувствовать ответственность за военно-политические интервенции в бывших колониях (Франция — в Кот-д’Ивуаре, Великобритания — в Сьерра-Леоне. Колониальные реминисценции у их противников возникают также в связи с их действиями в Ливии).

Политические и экономические процессы последних лет привели на Юге к разочарованию в перспективах развития. Остается надеяться, что эпоха конвергенции поможет от него избавиться. Глобализация рационализирует эмоции, а потому она должна смягчить воспоминания о колониальной травме. Но Запад при этом не должен оставаться безучастным наблюдателем того, как сглаживается эта травма. В своей деятельности он должен всегда помнить о ней, учитывать ее в своих действиях.

\* \* \*

Экзистенциальный код вплетен в национальные традиции и национальную ментальность. По национальным корням (французская революция) поступают соки, питающие французский индивидуализм и чувство неконтролируемой свободы, самое яркое выражение которой — всеобщее и безусловное право на выражение протеста. Из совершенно другого источника традиции — блеска и роскоши Версаля — выводят французскую склонность к этатистскому мышлению и действию. А этатизм и протест поддерживают ощущение величия государства и народа<sup>38</sup>. Ментальность немцев ассо-

цируются с любовью к порядку, стабильности, с предусмотрительностью, политическим трибализмом. В шуме дискуссии о том, как справиться с финансовым кризисом в Европе в 2010 году, политика Германии дала толчок для бесконечных спекуляций. Немцев обвиняли в отходе от европейского дела, в отказе от роли мотора европейской интеграции, в рациональности мышления, в эгоизме. Беспрестанно строились домыслы на тему, что же немцам на самом деле надо? Ответ нашли те, кто сумел заглянуть в потаенные уголки немецкой души: «Германия изменилась слишком мало, в то время, как Европа и мир изменились очень сильно [...] Германия работала в поте лица, чтобы преодолеть несчастье 1945 года, но травма остается определяющим фактором для немецкого общества. Немцы по-прежнему сосредоточены на трех существенных компонентах национального возрождения: на стабильности, порядочности и мире. Не теряй это триединство из виду, и для тебя сразу разъяснится масса вопросов»<sup>39</sup>.

Безграничное поле для анализа национальной ментальности и ее связи с внешней политикой, несомненно, представляет Россия. Хотя бы потому, что сами русские имеют пристрастие анализировать свою душу. Необходимо согласиться с тем, что связанные с Россией трудности в политике Запада за последние годы в определенной степени обосновываются глубиной тех перемен в ментальности россиян, что произошли после падения социалистического строя в России. Социализм в его большевистском варианте не перевернул русской души. Если исходить из того, что ее основными качествами были, в частности, важность духовной жизни и моральных принципов («не хлебом единым жив человек»), коллективизм (способность к коллективному труду), бескорыстие (отказ от собственных интересов ради общего блага), «соборность» (адаптация воли индивида к общему делу), вера в удачу (а не работу) как источник успеха, угрызения совести при необходимости сказать о себе хорошее, эмоциональность, примат справедливости над

законом, то подавляющее большинство этих черт социализм не только использовал в своих целях, но и даже развил. Советский человек был коллективистом, идеологизированным, не нацеленным на личный успех, на потребление, подчиненным государству, но морально допускавшим возможность красть у государства, человеком, сомневающимся в смысле результатов своего труда.

Справедливости ради следует отметить, что социализм дал русской душе и позитивные импульсы (стремление к образованию). Радикальное изменение ментальности произошло лишь в середине 90-х годов. Но и эта, новая ментальность не была свободна от противоречий. Например, люди ждали от государства защиты и помощи, но в то же время избегали его, наслаждаясь индивидуальной свободой<sup>40</sup>. В переломные эпохи общество находится в состоянии особого рода невроза. Тем более такое, как российское, которое верит в свою исключительность, специфичность. Оно не хочет слишком сближаться с другими, чтобы не потерять эту свою специфику. А не сближаясь, оно не в состоянии преодолеть дефицит доверия к партнерам. Не сумев преодолеть недоверие, оно смотрит на мир как на источник угрозы, всюду видит заговоры против себя. Оно хочет перемен, но боится хаоса, этого спутника перемен. Оно хочет безопасности и предсказуемости. Не преуспев в погоне за богатством и силой, оно хочет хотя бы того уважения, которое внушало в прошлом.

\* \* \*

Европа представляет собой мозаику национальных черт, синдромов и психологических склонностей. В системном плане здесь просматриваются две эмоциональные конфигурации. Западная Европа живет в соответствии с экзистенциальным кодом, который характеризуется страхом перед будущим. Общества Западной Европы — это общества, нацеленные на защиту сегодняшнего дня: достигнутого уровня благосостояния, долго и трудно создававшихся

структур, обеспечивающих определенный образ жизни, организации общественных отношений, сообщающей чувство безопасности и уверенность. День завтрашний может принести что-то лучшее, но может и изменить все к худшему. Поэтому мы растягиваем во времени настоящее, отодвигая насколько можно неопределенность дня завтрашнего. Невозможно понять политику европейского Запада без учета всемогущего фактора «страха перед будущим».

Многие политологические интерпретации роли Европы в мировой политике применяют понятия цивилизационного «заката», европейского «пацифизма», «венерианского» типа политики, «швейцарского» недуга (жизнь в достатке, но без влияния на мировую политику). Эти понятия объясняют европейским травматическим опытом, освобождением от психологического груза холодной войны, недостатком, а то и вовсе отсутствием воли в деле европейского сотрудничества в мировых делах, европейской институциональной интровертностью. Впрочем, возможно, европейский глобальный минимализм лучше всего объясняется «страхом перед завтрашним днем». Этот страх возник задолго до финансово-экономического кризиса 2008 года, но кризис в значительной мере усилил европейский фатализм. Европейский невроз нарастал годами и психологически был обусловлен кризисом.

Поэтому европейскую внешнюю политику можно интерпретировать как политику невмешательства, нежелания ввязываться в конфликты, воздержания от дестабилизирующих действий, веры в то, что международное сообщество обладает способностями к самоисцелению. Трудно отказать в обоснованности аргумента, что у «общества страха» может быть только такая политика.

На востоке Европы фактор страха значительно слабее. Страны Восточной Европы остаются обществами, «встающими на ноги», а значит, в них происходят изменения. Склонность к риску, азарту, прыжку, что называется, на середину пруда здесь значительно выше, так как у этих

обществ пока не слишком много есть что терять. Во внешней же политике энергия перемен проявляется в урезанном виде, что неудивительно: эмоциональные недуги Западной Европы распространяются на все европейское пространство. Восточная Европа, возможно, на всякий случай придерживается политики «общества страха».

Новые институциональные решения, введенные Лиссабонским договором для общей внешней политики Евросоюза, должны придать ей динамизм, освободить от ненужного балласта и обеспечить Европе место в глобальном концерте великих держав. Проблема же состояла в том, что для слишком большого числа государств Евросоюза общая его политика — это прежде всего политический страховочной полис, защищающий от последствий глобальной нестабильности, а не канал для выхода национальной политической энергии.

Интересные моменты можно отметить при анализе содержания интернет-сайтов министерств иностранных дел некоторых государств Евросоюза. Оказывается, все больше пространства их внешней политики отождествляют с Евросоюзом, а также, но в несколько меньшем объеме, — с НАТО. Политика безопасности обосновывается ссылками на стратегическую концепцию НАТО и стратегию безопасности ЕС. Политика в области прав человека или решения региональных конфликтов находит обоснование в заявлениях ЕС. Национальная внешняя политика при таком подходе сводится к обслуживанию членства стран в ЕС (или в НАТО), к управлению заграничными филиалами внешнеполитических учреждений, к организации визитов и поездок лидеров стран. Политические приоритеты все более явно исходят из интересов торговли и экономики, и этим интересам подчинена иерархия партнеров. Внешнеполитическая активность реализуется — наряду с заботой об экономических интересах — в погоне за престижными должностями, за право организовать важное мероприятие (Олимпиаду, международную выставку, чемпионат мира по футболу).

Внешняя политика потеряла измерение стратегической игры, а порой даже и политической интриги. Дипломатия из салонов перенеслась на заваленные бумагами письменные столы чиновников.

#### 4. Стиль дипломатии — отражение социальных отношений

Характер дипломатических взаимодействий удивительно начинает напоминать взаимодействия между людьми. В западных обществах, особенно в европейских, отношения интенсивны, но кратки, мимолетны, «без истории» и «обязательств на будущее», в них доминирует крайний прагматизм.

Возможно, в дипломатии начинает отражаться характеризующий современный Запад и описанный американским социологом Р. Сеннетом<sup>41</sup> принцип: «никаких долгосрочных соглашений». В социальной жизни стран богатого Запада он проявляется с ощутимой силой. Этот принцип неизбежно упраздняет базовые институты социальной жизни, в том числе и классическую модель семейной жизни. Он ставит под вопрос значение таких ценностей, как лояльность, благодарность, привязанность, бескорыстие. А опыт совместной жизни в обществе в новых условиях показывает, что «мимолетные формы связи оказываются более выгодными, чем связи долгосрочные».

Трудно не заметить сходства с тем, как принимаются решения в рамках Евросоюза. Сторонний наблюдатель с трудом нашел бы какую-то глубокую политическую логику в формировании коалиций во время принятия решений на заседаниях Комитета постоянных представителей государств — членов ЕС (COREPER) в Брюсселе (особенно COREPER I, на заседаниях которого обсуждаются социальные и экономические вопросы). Стратеги талейрановской и бисмарковской эпох могли бы недоуменно пожимать плеча-

ми. Такого способа образования коалиций они в свое время не знали.

Государства вступают в коалиции в самых разных конфигурациях. География, история, этническая или религиозная близость — все, что объективно является источником прочных связей, — теперь имеет все меньшее значение. Единственным компасом становятся интересы. Разумеется, объединяться в коалиции можно также и по принципу взаимной поддержки, но контакты подобного рода редки и случайны; редко когда на первое место выходит принцип долга, который платежом красен. Договоры забываются сразу же после их выполнения. Правда, в рамках ЕС существуют и более жесткие конструкции; например, Вишеградская группа\* часто собирается по вопросам деятельности Евросоюза. Если при этом не обнаруживается общего интереса, то участники разойдутся без укоров политической совести. Локомотивом Евросоюза в течение многих лет были наработки Германии и Франции в деле поиска механизма компромисса, который в результате мог бы стать базой для принятия решений в рамках ЕС, но со временем этот механизм перестал иметь решающее значение (хотя время от времени он пытается подтолкнуть Евросоюз вперед).

Внутри ЕС перестают играть роль давние симпатии. Если внутриевропейские отношения — это прообраз будущего международных отношений, то они предвещают скорый конец эпохи союзов, устойчивых ко всем ударам судьбы, обязательств «на все времена» и дружбы вечной и нерушимой. Соответственно следует объявить и о конце исторической вражды, соперничества и обид. Если не станут вечных друзей, то должен прийти конец и понятию «вечные враги».

---

\* Объединение четырех центральноевропейских государств — Польши, Чехии, Словакии и Венгрии — для координации вопросов политики и экономики. Создана в 1991 г. — *Прим. ред.*

Знаменательно, что в своей повседневной политической механике Евросоюз не склонен считаться с исторически сложившейся политикой его членов. Разумеется, в трудные минуты споров и эмоций историческая память возвращается. Когда представительница Люксембурга упрекнула Францию в жестком обращении с цыганами, то французский политик публично посетовал на то, что Франция и Германия сохранили в XIX веке Люксембургу государственность. А польский руководитель внес предложение учитывать при подсчете голосов в Евросоюзе людские потери страны, вызванные немецкой оккупацией.

Впрочем, все это затихающие всплески исторической памяти.

Неужели это конец стабильных и бескорыстных союзов? Наблюдая за другими регионами мира, мы можем уловить иные сигналы. Они подтверждают тезис, что отношения между государствами отчасти напоминают социальное взаимодействие. На широких просторах бывшего третьего мира существует чувство групповой солидарности (особенно когда речь идет о противостоянии богатому Западу), явно выраженные узы (даже с элементами племенной ментальности). Между странами этого региона случаются споры и конфликты, иногда кровопролитие; но даже в этих случаях имеет место чувство некой общности.

Вполне возможно, мы должны смириться с концом упорядоченных процедур решения мировых проблем. Ричард Хаас назвал новый феномен беспорядочной (*messy*) многополярностью. Ее создают накладывающиеся друг на друга, хаотичные, порой разнонаправленные действия. Хаас описывает их как «элитарную», «функциональную» или «неформальную» многополярность<sup>42</sup>. Элитарную многополярность создают узкие «клубы» принятия решений, как, например, G8 или же родившийся во время финансово-экономического кризиса новый вариант группы — G20.

G20 должна была внести в глобальный диалог некую репрезентативность. Но репрезентативность здесь была

обеспечена решением «начальства», а не свободным выбором. Поэтому легитимность группы до сих пор вызывает сомнения. Причем не только у тех государств, притязания которых на членство в этой группе остались без удовлетворения (например, Египет). Даже некоторые из членов G20 чувствуют некий дискомфорт, когда какие-либо из их региональных партнеров ставит под сомнение право группы на существование. Главная слабость G20 — это отсутствие связи с институционализированными структурами глобального управления, особенно с ООН. Последняя пребывает в состоянии деградации и уже не поддается реформированию. Согласно Хаасу, всему виной принцип «один человек — один голос»: «в глобальном масштабе демократия является рецептом для того, чтобы ничего не делать»<sup>43</sup>.

Межрегиональные площадки диалога Евросоюза (например, упомянутые европейско-азиатские саммиты) наверняка не попадают под определение элитарных, но они — новое явление, хотя пока не оказали существенного влияния на международные отношения.

Последние 20 лет отмечены расцветом региональной многополярности. Региональные организации развиваются, даже если иногда развитие состоит прежде всего в изменении фасада (Африканский союз). Все еще нет формулы для паназиатского сотрудничества (несмотря на многочисленные инициативы середины 90-х годов), но региональное сотрудничество на менее высоком уровне расцветает в Азии пышным цветом, особенно в восточной и юго-восточной ее частях. Региональная идентификация возросла в странах Латинской Америки и в Европе, где Евросоюз проявляет новые качества регионализма, не до конца еще понятые за пределами Европы.

Другая форма многополярности — это «функциональная» многополярность. Здесь речь идет прежде всего о коалициях, возникающих для решения конкретной проблемы. Один из примеров, оказавшихся близким Польше, это ИБОР — объявленная Дж. Бушем-младшим в Кракове 31 мая 2003 года

Инициатива по созданию механизма для выявления и пресечения незаконных перевозок оружия массового уничтожения. В Инициативе участвуют более 90 государств (хотя вначале их было всего 11). Вполне возможно, функциональная многополярность — наиболее перспективный путь решения самых трудных проблем будущего: климатических изменений, доступности пригодной для питья воды, «дефицитного» сырья.

И последняя форма многополярности — это неформальная многополярность. Уже много лет пробиваются к жизни и множатся формулы неформальных трехсторонних, четырехсторонних и более широких встреч, не закрепленных ни в договорах, ни в формах институализированного сотрудничества. В мировом масштабе больше всего эмоций вызывает формула сотрудничества стран БРИК\*. Трудной задачей представляется подсчет количества такого рода неформальных — по сути сетевых — связей в сегодняшнем мире.

«Беспорядочная многополярность» — необоримая тенденция. Политики или стратеги, ищущие простую формулу глобальной стабильности, должны принять к сведению, что все новое, что возникает в структуре управления мировыми делами, должно учитывать и приспособливаться к пульсирующей материи многополярных связей. Беспорядок ослабляет концентрацию политической энергии, делает международные процессы малопрозрачными, производит впечатление хаоса. Но есть у него и одно важное преимущество: он — своеобразная машина по разрешению проблем, которую трудно поломать и остановить, он образует систему, положительной стороной которой является высокая гибкость, он делает международные отношения все более саморегулирующейся сферой, является шагом к поистине «сетевому» миру.

---

\* 18.02.2011 г. к группе стран — Бразилии, России, Индии, Китаю — присоединилась ЮАР, и группа стала называться БРИКС. — *Прим. ред.*

\* \* \*

Международные отношения — это отнюдь не взаимодействие неизменных по своей сути структур. Структуры изменчивы. Традиционно они определяют динамику отношений государства. Их роль продолжает оставаться существенной и решающей, хотя влияние негосударственных участников международных отношений заметно выросло. Сами государства подвержены изменениям, меняются их потенциал, интересы и их политика. В то же время изменяется и сущность государства как субъекта международных отношений, потому что меняется характер общества, которое составляет государство.

Чтобы заметить масштаб изменений, не требуется специального социологического знания.

Общества богатых западных государств эволюционируют в сторону многоуровневой конструкции с изменяемой геометрией. Социальные контакты изобильны и интенсивны, но случайны и кратки. Сильна потребность в групповой идентификации, но у нее поверхностный характер. Чувство национальной принадлежности важно, но оно не обязательно должно проявляться в государстве. Общество становится суммой «сообществ» (не только интернет-сообществ), самоорганизующихся на зыбкой и случайной основе. И даже если для одних социологов это повод для провозглашения тезиса о переходе от групповой модели, опирающейся на сообщества, к так называемой сетевой модели, а для других — это новые формы трибализма и общности, в любом случае бесспорно то, что речь идет о новых качествах социальных отношений.

В международных отношениях государства всегда стремятся к одному и тому же: пользоваться достаточным уровнем суверенности и иметь прочные гарантии безопасности. Но на характер международных отношений государства все сильнее влияет мнение простых граждан. Суверенность государства — высокая ценность, если она реализуется в свободе граждан во внешних отношениях. Безопасность

государства — высокая ценность, если она реально обеспечивает безопасность своим гражданам. Глобализация и выход «сетевое» общества за границы отдельных государств усиливает потребность в индивидуальных свободах и безопасности.

С момента окончания холодной войны продолжают поиски новой формулы мирового порядка. Переходная фаза между эпохами в мировой политике превращается в самостоятельную эпоху. Возможно, новая формула порядка так никогда и не появится.

Любой порядок, в том числе и международный, не работает без норм и стандартов. Но, как показывает опыт внутренней жизни любого государства, качество порядка не находится в прямой зависимости от количества норм и стандартов.

В «сетевом» мире кодифицировать каждый аспект международного взаимодействия становится все труднее и труднее. Обсуждение универсальных международных инструментов проходит все тяжелее. Увеличилось количество участников; усилился фактор их идентичности; стало труднее контролировать их действия.

Эффективной сегодня может быть только такая многополярность, которая опирается на сотрудничество. Характер мировых вызовов приводит к тому, что необходимость объединения усилий, раньше или позже, пробьется к сознанию обществ и лидеров. Каждый кризис или осложнение экономической ситуации ослабляет их воздействие. В кризисе обнаруживаются, как правило, отрицательные стороны человеческой ментальности. Первая реакция людей — защита собственного имущества, даже за счет других. Даже если логика подсказывает, что во время кризиса лучше объединять усилия, чем тратить энергию на соперничество, эмоциональные импульсы заглушают голос разума. Тем не менее императив сотрудничества будет пробивать себе путь. Хотя бы так, как это происходит во «внутреннем дворике» Евросоюза.

Современный мир во все большей степени становится пространством эмоций. Довольно большая его часть живет в эпохе неуверенности и тревоги (The Age of anxiety), хотя на все большей его части заявляет о себе эпоха новых возможностей (The Age of possibility)<sup>44</sup>. Вряд ли произойдет столкновение этих эпох, но невозможно понять мир и международную политику без глубокого психологического анализа обществ, живущих в этих двух разных эпохах.

### III. Повороты и взлеты истории

Во времена глубоких перемен естественны вопросы: куда идет мир? каков смысл происходящих в нем изменений? каковы контуры будущего, возникающего из хаоса? Более серьезные проблемы появляются тогда, когда эти вопросы звучат слишком долго, оставаясь без удовлетворительного ответа. Такова, несомненно, негативная политико-психологическая картина нынешнего «межвременья» в международных отношениях.

Неуверенность часто заставляет обращаться к истории. Люди всегда старались найти образцы будущего в опыте прошлого. Причем не только в мегамасштабе. Каждая новая, даже самая маленькая проблема на международной арене изучается на основе опыта. Дипломаты, как правило, сопоставляют новые вызовы с известными примерами из прошлого. Так поступают не только они. Военные стратеги также строят планы, исходя из опыта прошлых войн. Поиск прецедента — естественный рефлекс дипломатии. Расхождение позиций в переговорах обычно решается с помощью формул, которые в свое время уже приводили к согласию. Таким образом, многие резолюции Генеральной Ассамблеи ООН являются копиями резолюций, принятых в прошлом. Прогресс в многосторонней дипломатии достигается кропотливым методом расширения текстов с помощью новых мыслей, уточнения определений, расстановки знаков препинания, которые могут придать тексту новое звучание.

А поскольку политики и дипломаты — это люди, занятые сверх меры, и решения приходится принимать им в боль-

шой спешке, то и появились научно разработанные алгоритмы анализа уроков истории. Тот, кто не знает истории, обречен повторять ее. Существуют точные правила действий в процессе принятия решений, которые всегда помогают учесть исторический фактор<sup>1</sup>.

## 1. Логика цикла и логика конвергенции

Человеческому уму свойственно выстраивать события в циклы. Циклы суток и годового календаря организуют его планы и память о событиях. Аграрные и природно-растительные циклы были у истоков упорядочения не только хозяйственной, но даже и военно-политической деятельности (войны, вооруженные кампании и т.п.). Полон циклического порядка и мир физики, математики, астрономии. Более того, казалось бы, единственный и неповторимый Большой взрыв, объясняющий возникновение Вселенной, стали все смелее интерпретировать как циклическое событие. Особое место в экономической науке занимают теории хозяйственных циклов.

Таким образом, человеку с самого начала цивилизации была свойственна склонность к циклической организации общественно-политической жизни. Поначалу — в виде самых разнообразных астрологическо-религиозных доктрин. Концепции «циклического возвращения» ассоциируются у нас с цивилизационными корнями индийцев — индуистской реинкарнацией и буддистского путешествия по карме. Историческое время помещали в циклы и ацтеки. Идея вечного возвращения красной нитью проходит через философские школы Древней Греции. Нашла она свое место, в частности, у стоиков (у них даже фортуна уподобляется катящемуся колесу). А в современной европейской философии эта тема больше всего связана с именем Ницше.

Элементы циклического восприятия мира совершенно естественным образом были перенесены на социологию и историю, дав исключительный импульс самым разным историософским теориям.

В современном научном социально-экономическом знании историческая цикличность проявилась в теории «волн Кондратьева» (1922 год. — *Ред.*). Эти «волны» описывают развитие мирового капиталистического хозяйства в длинных 40–60-летних циклах, которые включают последовательно фазы роста, стагнации, кризиса и депрессии, но в целом составляют экономический прогресс. Разные периоды хозяйственной активности коррелируют в этой теории с состоянием общества и с его настроениями. Общество проходит последовательно через фазы «весны», «лета», «осени» и «зимы» — расцвета и увядания. Кондратьевские циклы послужили импульсом для построения, в частности, теории циклов социальных конфликтов (Эрнесто Скрепанти) и теории глобальных циклов гегемонии (Иммануил Валлерстайн). Однако со временем теория длинных экономических циклов подверглась жесткой критике, причем настолько убедительной, что стала напоминать скорее интеллектуальный курьез, чем реальный инструмент экономического прогнозирования. Но если сами кондратьевские волны поблекли, то инспирированные ими политологические теории вполне успешно и с полным основанием занимают место среди прочих идей.

У теорий социальных циклов длинная история. Видение развития цивилизации как процесса «золотых» и «черных» эпох было общим для западных и восточных культур. В современном мире эта традиция нашла интеллектуальное прибежище в историософии. На цикличности развития цивилизации построил прогноз заката Запада Освальд Шпенглер. Арнольд Тойнби отверг циклический детерминизм Шпенглера. Он наделил цивилизации субъективной силой продления фазы расцвета и существования в зависимости от того, насколько успешно цивилизация справляется с

внешними и внутренними вызовами (основой выживания при этом была прочность духовного стержня). Цивилизации гибли, считал он, оттого, что сами убивали себя, а не потому, что кто-то на них нападал.

Склонность рассматривать историю через призму «золотых» и «черных» страниц не исчезла до сих пор. Нередки мнения, что XX век был «черной» страницей в истории человечества, главным образом из-за мировых войн, разгула тоталитаризма, массовых убийств, цивилизационных болезней, загрязнения окружающей среды или пандемий. Источник таких взглядов — несомненно, моральные переживания, а сами взгляды подчеркивают нечто противоположное, а именно невероятный моральный прогресс в мировой политике. Ибо в XX веке войну как средство ведения политики поставили вне закона, тоталитаризм вынесли за цивилизационные рамки, осуждены массовые убийства, установлена международная ответственность отдельных лиц за преступления и т.д. Одно плохо: этот моральный прогресс слишком дорого обошелся человечеству.

Историософия исследует логику исторического процесса, необязательно циклического. Она выявляет примеры, закономерности, тренды, векторы. Склонность эпохи Просвещения к линейной интерпретации истории на основе концепции прогресса отнюдь не отменила циклического понимания истории. В тот период циклы приобрели пространственную глубину. Из двухмерной синусоиды они превратились в поднимающиеся в пространстве спирали. На изучении диалектики спирали специализировался марксизм-ленинизм. У многих из современных циклических теорий можно отыскать узнаваемые марксистские корни.

Два имени считаются ключевыми для циклической историософии, это Фернан Бродель и Иммануил Валлерстайн. Бродель, несомненно, придал историческим исследованиям неведомую ранее глубину, введя методологию «больших длительностей», придал истории новое измерение и комплексность, наполнил ее циклическую структуру социаль-

но-экономическими процессами. В его представлении с XII до конца XIX века циклы, и это интересно, релизовывались вокруг городов-субъектов (Венеция, Генуя, Антверпен, Амстердам, Лондон).

Валлерстайн первоначально связал циклы развития современной капиталистической мир-системы с тремя фазами экономического доминирования в разные эпохи государств-гегемонов — Нидерландов, Великобритании, США. Он сделал современников участниками выбора будущего, предсказывая конец нынешней мир-системы, возможно, уже к 2020 году.

Несомненно, Кондратьев, Бродель и Валлерстайн — духовные отцы геополитических течений, в которых основой анализа соотношения сил является экономический фактор. Их слабость, несомненно, в экономическом детерминизме, который делает более бедной, поверхностной интерпретацию политических процессов.

Попытку отрыва исторических циклов от экономических процессов предпринял, в частности, Джордж Модельски<sup>2</sup>, который смягчил экономизм Валлерстайна. Он связал исторические циклы с длинными мировыми политическими циклами лидерства. Он выделил такие циклы: португальский, голландский, британские (первый и второй), и наконец — американские. Каждый цикл должен пройти последовательно фазы — гегемонистской войны, гегемонистского господства, ослабления лидерства и потери господства.

Циклические теории строятся, как мы видим, в основном на идее гегемонии. Государство, занимающее доминирующее положение в рамках цикла, наделяет цикл смыслами, а его судьбы отражены в динамике цикла. В действительности соотношение сил и расстановка субъектов мировой политики имели значительно более сложный и неоднородный характер. Гегемонистское положение государств всегда было относительным. Даже введение в картину циклов более сложной структуры — пирамиды, предполагающей сосуществование глобальных и региональных гегемонов,

оценка степени доминирования на основе соперничества между государствами (Франция и Германия в период британских циклов, а в СССР — во время американского цикла, согласно Модельскому) не в состоянии отразить всей сложности эволюции картины мира.

Циклы применительно к международной политике неизбежно становятся апофеозом упрощений. Прежде всего их более или менее механистично ассоциируют с цикличностью экономических процессов. А это, судя хотя бы по отношению к кондратьевской теории волн в современной экономической науке, ход весьма сомнительный. Разумеется, существует безусловная связь между экономической мощью государства и его местом в политике. Однако связь цикличности экономических процессов с процессами в мировой политике — это нечто иное. Сегодня не подлежит сомнению, что рост мощи государства, как в абсолютных, так и в сравнительных показателях, то есть мощь, измеряемая степенью господства над другими государствами, не может быть характеристикой постоянной и предсказуемой. Мировые и региональные державы, империи и параимперии возникали, быстрее или медленнее росли, по-разному обозначали свое господство, существовали и угасали на разных временных фазах, в разных геополитических и системных формах.

Циклический алгоритм действия исторических законов предложил также Дж. Фридман, взгляды которого мы здесь уже обозначили. Он считает, что «существует странная и не до конца объяснимая формула, вписанная в американскую историю. Примерно каждые пятьдесят лет Соединенные Штаты сталкиваются с переломным экономическим и социальным кризисом»<sup>3</sup>. Он выделяет пять циклов в американской истории («от отцов-основателей до пионеров», «от пионеров к Америке малых городов», «от малых городов к промышленным центрам», «от промышленных центров к пригородам, живущим услугами», «от пригородов, живущих услугами, к классу постоянных мигрантов»). При этом автор

предупреждает, что не может объяснить ни длительность циклов, ни их логику, особенно на фоне более широких процессов, происходящих в мире.

Обилие социально-экономических факторов таково, что можно построить множество всякого рода циклов. Каждая циклическая конструкция выстраивается на более или менее субъективном, если не сказать произвольном, подборе исторических фактов, укладываемых в некую логическую линию на оси времени. То есть мы имеем дело со своего рода игрой в умелое сопоставление и соединение фактов, которые вовсе не обязательно должны находиться друг с другом в непосредственной причинно-следственной связи.

Совершенно ясно, что до 1500 года наш мир не знал циклов. Он не знал их даже в фазе развития капиталистического хозяйства, цикличность которого так возбуждала воображение экономистов еще сто лет назад, а регулярные политические циклы господства в большей степени являются интеллектуальным продуктом, чем отражением смысла политических процессов<sup>4</sup>. Роль хозяйственных процессов остается, разумеется, важной, как для отношений между государствами, так и для ситуации внутри государств. Динамика экономического развития имеет неоспоримое влияние на социальное единство и жизнеспособность государства, а тем самым — на форму и эффективность его политики. И что интересно, значение имеют не только долгосрочные тренды (темпы роста производства, доходов, инвестиций, цен). Не меньшее, а порой и значительно большее влияние на политику государства оказывают быстрые и неожиданные экономические события (биржевые, банковские, фискальные и прочие кризисы), потому что они прямо отражаются на настроениях общества и на политических решениях. Они мешают оценке долгосрочной перспективы политических стратегий, порождают напряжения внутри государства и ограничивают свободу его действий на международной арене. Международные войны и конфликты, как правило, вспыхивают под давлением чрезвычайного

развития событий. Войны рождаются как из экономического роста и процветания (Первая мировая война), так и из фрустрации, порожденной экономическими кризисами (социальные истоки фашизма). Но это, разумеется, не отвращает современных исследователей от выявления закономерностей цикличности войн.

Измерение истории международных отношений циклами войн и мира можно без сомнений отнести к очередным проявлениям человеческой склонности сверх меры упрощать мир, даже если ради этой цели прибегают к математическим и квазиматематическим моделям<sup>5</sup>. Имели место попытки сопоставить частоту войн с особенностями развития культурных и цивилизационных систем. Из этого, например, вывели воинственность западной цивилизации и пацифизм конфуцианского Китая. В те времена, когда социальный порядок определялся духом конфуцианства (то есть вплоть до начала XX века), Китай был примером относительно мирной жизни. Даже в так называемую черную эпоху истории Китая (220–618 годы нашей эры) по масштабу и частоте войн здесь было относительно спокойно по сравнению с Европой. Поэтому китайскую цивилизацию невозможно было охарактеризовать как воинственную<sup>6</sup>.

Следовало бы добавить, что закат эры западного господства и переход роли мирового гегемона к Китаю (если бы он вернулся к конфуцианским корням в национальной идеологии) означал бы для человеческой цивилизации новую эру — эру сведения к минимуму роли войны как политического фактора. Это наблюдение должно помочь вылечить элиты и общества Запада от страха жизни в мире, где первую скрипку играл бы Китай.

Рассуждения о конце цикла господства Запада пропитаны страхом перед последствиями перемещения центра мировой политики в Азию, в частности в Китай. В закате Запада видят чуть ли не аналогию падению Рима. Политически некорректно развивать эту параллель до степени, в которой падение Рима связывается с хаосом, куль-

турным упадком, переселением народов и правлением варваров. К счастью, в серьезной публицистике такие параллели отсутствуют.

В политико-психологическом измерении элиты Запада рано или поздно, безусловно, будут вынуждены смириться с меняющейся расстановкой сил. Кроме того, изменение этого соотношения происходит не в одночасье, ему отводятся десятилетия. А смена расстановки сил вовсе не должна сопровождаться чувством маргинализации и потерей возможностей влиять на свою судьбу. Иначе говоря, нечего, в сущности, бояться.

\* \* \*

Тех, кого, несмотря ни на что, пугает перспектива мира, которым управляет Азия, можно успокоить примером Японии. Приблизительно 20 лет эта страна находится в состоянии экономической стагнации. Ее ВВП находится на уровне 1991 года. Доля Японии в мировом ВВП сократилась до 8,76%. В 2010 году ее биржевые индексы колебались на уровне одной четвертой показателей 1990 года. Полвека Япония носила титул второй экономики мира и потеряла его в 2010 году, уступив Китаю. Если жизнеспособность японской экономики измерять в сравнении с динамикой роста других стран (хотя бы Китая) или же способностью привлекать иностранный капитал (тот же Китай), то Японию, безусловно, можно характеризовать как экономику упадка. Если же измерять здоровье экономики способностью удовлетворять общественные ожидания, Япония продолжает оставаться успешной, ибо речь идет о стране, в которой безработица не превышает 5%, средняя продолжительность жизни составляет более 82 лет, а преступность одна из самых низких в мире. Япония относится к категории стран, прошедших стадию бурного роста. Социальная удовлетворенность значит здесь больше, чем материальный достаток. Но самочувствие страны не зависит от ее места в списках международных рейтингов. Япония перестала соревновать-

ся — и с Америкой, и с Китаем. Оценку японской модели, несомненно, снижает высокий уровень самоубийств, консервативно-ограничительная социальная модель (роль женщин, смертная казнь, иерархизация общества, вспышки ксенофобии) и очень низкие оценки удовлетворенности жизнью. Однако факт остается фактом: экономическая стратегия, измеряемая традиционными показателями, не коррелирует ни с фрустрацией общества, ни тем более с политической непредсказуемостью. Сохраняя свою культурную идентичность, Япония в то же время в политическом отношении держится вместе с Западом<sup>7</sup>.

\* \* \*

Инерция циклического мышления проявляется также в том, что в теперешней большой всемирной перестройке экономических и политических сил пытаются усмотреть завершение огромного цикла — целой эпохи современной геополитики. Миру предстоит переорганизоваться на манер «неосредневековья», а век XXI воспроизведет в своих чертах век XII. Это словно большой поворот в истории — ее возвращение на 900 лет<sup>8</sup>. Это был бы мир, в котором Китай господствовал бы над значительной частью Азии и был бы предметом восхищения Запада (совсем как во времена путешествия Марко Поло). Индия распростерла бы свое влияние от Африки до Индонезии. Раздробленную Европу держала бы в стабилизирующем повиновении новая империя наподобие Великой Римской (Евросоюз). Соединенные Штаты играли бы роль новой Византии, внимательно приглядывающейся как к Востоку, так и к Западу. Сторонники новой медиевизации мира заявляют, что Средневековье было периодом открытых границ, обмена идеями, уменьшения роли государства, временем креативности и изобретательства. Скептики непременно усомнились бы в серьезности этой аргументации, ссылаясь на иррациональность крестовых походов и растущее напряжение между христианством и исламом, хотя где-либо кроме Европы трудно было бы

отыскать в эпохе Средневековья признаки «темных веков». Совсем напротив. Параллель «великого возвращения» не выдержала бы методичного анализа мира тогдашнего и мира современного. Это, разумеется, две разные планеты. Так что не приходится серьезно говорить о неосредневековье. Однако трудно освободиться от исторических аналогий при оценке процессов, происходящих на наших глазах. История всегда взывает к нашей фантазии.

Политико-психологический сдвиг, в основе которого перспектива сдачи Западом лидирующих позиций в мире, может вызвать потребность в новых теориях, объясняющих закат Запада. При этом надо преодолеть искушение воображать будущее мира как его возвращение в ситуацию девяти-сотлетней давности, то есть к возрождению лидерства азиатского Востока после пяти веков господства Запада. Будущим мира должно стать продвижение к новой «великой конвергенции»<sup>9</sup>. К миру, в котором раньше или позже более богатые страны Запада соединятся с поднимающимися странами азиатского Востока в единой семье народов, успешно прошедших стадию роста. Поначалу на периферии останутся неспособные соответствовать императиву роста страны Ближнего и Среднего Востока, Африки и остатки слабых экономик Запада (например, в Латинской Америке), но, возможно, тоже ненадолго. Восток сольется с Западом, Север — с Югом.

Одно не подлежит сомнению: рост азиатского Востока представляется необратимой тенденцией. В 1980–2008 годах ВВП на душу населения (по паритету покупательной способности) Китая вырос с 6 до 22% от этого показателя в США (в Индии этот показатель поднялся с 5 до 10%). Постепенная ликвидация разрыва в развитии между поднимающимися экономиками Азии и Западом — тенденция отнюдь не новая. Роль первопроходцев сыграли здесь в 60-е годы Япония, чуть позже — Южная Корея и Тайвань. Однако в нынешнем взлете Китая и Индии экспертов поражают темпы сокращения разрыва в доходах по сравнению с

развитыми экономиками. Лишь какая-то цивилизационная катастрофа сможет помешать Китаю достигнуть уровня подушевого ВВП, сравнимого с уровнем некоторых богатых стран Запада, и уж наверняка превзойти этот показатель в Польше и других странах Центральной и Восточной Европы. Это означало бы революционное изменение карты благосостояния в мире. Периферия снова стала бы центром, а центр — периферией. Однако в действительности дело не в простой смене стратегических ролей. Логика подъема новых экономических гигантов (Китай, Индия, но на том же векторе легко можно представить себе и Бразилию, и Мексику) приведет к исчезновению деления мира не только в экономическом отношении на центр и периферию. Мир имеет шанс стать воистину полиморфным организмом. Не только в смысле многополярности и географического равновесия расположения полюсов. Речь идет об обмене ролями между отдельными центрами в многомерной системе взаимозависимостей — политических, экономических и культурных.

В тезисе о новой «великой конвергенции» в международно-политическом обороте снова всплыло через многие годы понятие самой конвергенции для описания логики постепенной ликвидации разрыва в уровнях развития и цивилизационных различий. Доктрина конвергенции пользовалась весьма серьезной интеллектуальной поддержкой на рубеже 50-60-х годов. В тогдашнем своем варианте она доказывала постепенное сближение капиталистического и социалистического обществ в социально-экономическом отношении. Мотором конвергенции становился научно-технический прогресс (эра атома и спутника). Социальные последствия прогресса привели к технократизации политических систем, к формированию постиндустриального общества, в котором развитые элементы социальной защиты (с социалистической родословной) соединялись с потребительством и конкуренцией (родом из капитализма). Конвергенционные доктрины Раймона Арона или Питирима Сорокина возникли

под напором событий момента: Советский Союз на пороге 60-х перегнал Америку в космосе, расширил свой ядерный потенциал до небывалых размеров, вышел на вершины политического влияния в мире, эффективно экспортировал свои социальные идеи по каналам национально-освободительных движений. Идеологическая конвергенция косвенно была вписана в принцип мирного сосуществования, который стал знаменем внешней политики советского блока в 1960–1970-е годы. Конвергенционные доктрины были выброшены на свалку в момент падения коммунистической системы в Европе. Полная дискредитация коммунистических идей «перекрыла кислород» идеям конвергенции.

Глобализация вновь вызвала к жизни теории конвергенции. Причем в более глубоком, социально-культурном измерении. Понятно, что писанная широкими историческими мазками «великая конвергенция» началась где-то тысячу лет назад, когда великие цивилизации, развивавшиеся в относительной изоляции с времен доисторических миграций человека, вступили в контакт друг с другом. Глобализация нашего времени является логической фазой этого исторического процесса сближения и конформизации экономик, политических систем, культур, обществ. Напротив, в цивилизационном соперничестве переломным моментом оказалось начало XVI века, когда Запад своей цивилизационной мощью превзошел Восток. Эпоху западного превосходства стали определять как «великую дивергенцию»<sup>10</sup>. Уровни экономического развития, богатства обществ, технологических новшеств Запада и Востока стали все больше и больше расходиться. Экономическим и политическим эффектом промышленной революции XIX века стало то, что Восток превратился в колониальную периферию Запада. Сегодня, после полутысячелетия безусловного господства Запада, происходит, как было сказано, изменение этой тенденции.

Как и большинство доктрин и теорий, «великая конвергенция» опирается на очевидные проявления наблюдаемых явлений. Впрочем, международные отношения в наше

время хрупки, они чутко реагируют на помехи и регресс. Оружие массового уничтожения не исчезает из арсеналов. До сих пор все еще есть желающие обзавестись им. Все больше стран располагают средствами его доставки, радиус действия которых позволяет достигать других континентов. Кошмаром остается терроризм, способный спровоцировать неконтролируемый ход политических и военных событий. Глобальные экономические кризисы, сырьевые проблемы, экологические катастрофы, пандемии — до сих пор актуален весь список угроз, тщательно каталогизированных и расставленных в стратегических доктринах в соответствии с их ролью. Эти угрозы могут толкнуть международные отношения в совершенно нежелательном направлении. Институциональные и политико-правовые механизмы контроля за последствиями этих угроз для развития не в состоянии дать абсолютную гарантию успешных действий по их преодолению.

Однако самая большая проблема — непредсказуемость поведения человека.

## 2. Восходящие линии и синусоиды

Если геополитики и реалисты (геостратеги) проявляют естественную склонность рассматривать историю международных отношений в циклических категориях, то представители идеалистических школ охотнее обращаются к диалектическим моделям исторического развития. Требуемый вектор логики развития международного сосуществования убедительно описал Иммануил Кант. Но сам он признавал, что идея «вечного мира», хоть и «теоретически правильна», «ничего не стоит на практике...»<sup>11</sup>.

И. Фихте и Г. Гегель идейно разработали диалектическую механику реализации разума в вердиктах истории. А «материализовал» ее Карл Маркс, придавший классовую логику и международным отношениям. Ленин сделал более пластич-

ным линейный образ истории, обратил прямую линию в спираль, чтобы сделать поправку на попятные движения, катастрофы, революции, скачки, переход «количества в качество» и всякого рода прочие аномалии. Классическая марксистско-ленинская школа истории международных отношений рухнула вместе с падением СССР.

Наиболее интеллектуально насыщенным линейным вариантом в наши дни, несомненно, стал образ «конца истории» Фрэнсиса Фукуямы, в котором международные процессы отражают поступательное движение к победе идеи либеральной демократии и капиталистического свободного рынка. Постмодернистская нирвана международного сосуществования, описанная Робертом Купером, также строится на жесткой линейности. Сам собой напрашивается вывод, что по его концепции все государства придут к постмодернизму, пусть и не обязательно теми же самыми путями, а, может, даже и перескакивая отдельные стадии.

Каждая линейная теория должна исходить из рациональности международной политики. Проблема же, естественно, состоит в том, что «[...] рациональность — это прежде всего качество отдельных личностей, да и то в виде приближения. Применять же это свойство к коллективным образованиям, таким как корпорации или правительства, надо очень осторожно»<sup>12</sup>. Рациональность выбора — это не черта государств. И даже если за выбором государства стоят конкретные люди, то рациональность их действий более чем относительная. Говоря дипломатическим языком, «история дает много примеров государственных руководителей, совершавших ошибки при принятии решений на международной сцене»<sup>13</sup>.

Идеалистические школы видят логику развития международных отношений в первенстве права и институтов. Мир, в их понимании, должен идти к такому состоянию, при котором поведение государств определяется нормами, а право определяет способы, с помощью которых будут улаживаться конфликты и споры. Институты призваны заме-

нить инстинкт соперничества и конфликта умением работать сообща. Легалистский идеализм базируется на идее, которая с точки зрения всемирной истории все еще свежа. Несколько десятков лет наблюдается тенденция к регулированию поведения государств с помощью многосторонних правовых международных инструментов, а также с помощью создания и развития институтов международного сотрудничества.

В основе успеха легитимизации и институционализации международных отношений очень простая предпосылка: сотрудничество, согласованные действия и координация посредством только лишь добрых традиций и правил имеют естественные пределы. Договоры позволяют переступить эти пределы или по крайней мере изменять их. Институты заставляют поступать согласованно<sup>14</sup>.

Для внутреннего общественного порядка всегда имела важное значение синергия права и морали. Со временем соблюдение буквы закона в государстве стало целью в себе. Люди подчиняются правовым нормам, не углубляясь в моральные аспекты. Соблюдение закона — залог порядка и предсказуемости, поскольку оно базируется на принципе взаимности. Что же касается сферы международных отношений, то здесь право и мораль вступают в непростые отношения. Общая тенденция состоит в том, что поведение одного государства по отношению к другому становится предметом все более и более строгой моральной оценки. В то же время соблюдение закона и особенно — поддержка какой-либо международной организации не являются абсолютным приоритетом государств в их деятельности на международной арене. Эту деятельность всегда соотносят с важностью других благ и ценностей — безопасностью государства, экономическими интересами, положением его граждан. Готовность к соблюдению буквы закона всегда соотносится с балансом выгод и потерь в других — реальных с точки зрения каждого государства — интересах. Даже если неподчинение международному праву и членским обя-

зательствам связано с риском наложения санкций (применением средств военного, экономического, политического принуждения) или ограничения членских прав (лишение права голоса в организациях, исключение из процесса принятия решений и т.п.). Соблюдение международного права, к сожалению, не всегда было и не является самодовлеющей целью.

\* \* \*

Результаты легитимизации и институционализации международных отношений впечатляют. При этом даже не столько количеством международных организаций. Их все труднее становится сосчитать. А прежде всего тем, что повсеместной практикой стало появление образований с институционально неопределенным профилем, эдаких параинститутов, которые тем не менее выполняют функции, традиционно ассоциируемые с деятельностью международных организаций. В течение ряда лет организацией не являлась (а сегодня, оставаясь без договорной основы, не до конца является) Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. У нее есть постоянный бюджет, институты, сотрудники, программа, но по-прежнему отсутствует формальное соглашение, которое заявляло бы о ее существовании. Несмотря на это, ОБСЕ — полноправно функционирующая организация. Другой пример: G8 или G20 организациями не являются, хотя это гораздо больше, чем формула регулярных встреч. Сегодня количество международных организаций составляет примерно 4 тыс. Если же считать все организации с учетом неправительственных, то наверняка можно говорить о 50 тыс.<sup>15</sup>

Сухая статистика приобретает реальное измерение, когда начинаешь подсчитывать финансовые и человеческие затраты на обслуживание членства в организациях. Польша не относится к странам первого эшелона в плане членства в международных организациях. Есть такие государства, особенно европейские, которые оплетены густой сетью связей с

международными структурами. Однако по показателям международных связей Польша находится значительно выше среднеевропейского уровня. В польском бюджете расходы на обязательства в связи с членством в межправительственных организациях (без учета межпарламентских, межсудебных и других институтов) проходят по 150 статьям! И это не считая обязательств в связи с членством в Евросоюзе, которые учитываются в соответствии с другими принципами «бухгалтерии». Список возглавляет, естественно, НАТО. ООН с польским вкладом в бюджет в размере свыше 65 млн польских злотых\* (данные за 2010 год) занимает третье место, Совет Европы — одиннадцатое (около 25 млн злотых), ОЭСР — восемнадцатое (около 13 млн злотых), ОБСЕ — двадцать третье (8 млн злотых), ЮНЕСКО — тридцать первое (около 5 млн злотых), Организация по вопросам запрещения химического оружия — пятидесятое (около 1,5 млн злотых), секретариат Совета государств Балтийского моря — семьдесят шестое (около 0,5 млн злотых), Фонд сотрудничества Центральноевропейской инициативы — сто тридцать третье (около 130 тыс. злотых). А в третьей сотне находятся Международная организация франкофонии с польским взносом в размере около 2 тыс. евро или практически неработающий Мировой и Арбитражный суд ОБСЕ (1500 швейцарских франков). Достаточно представить, что по каждой бюджетной статье работает какой-то чиновник (а в случае больших организаций — до нескольких десятков человек). Это не только тянет в сумме на несколько миллиардов злотых, но и требует целого отряда сотрудников, единственной задачей которых является обслуживание обязательств по членству Польши в международных структурах.

Еще более поразительные результаты может дать анализ статистики, касающейся степени обязательств, связанных с обслуживанием международных договоров. Учитывая, что

---

\* 1 польский злотый = примерно 3,2 доллара. — *Прим. ред.*

эпоха соглашений началась задолго до того, как появились международные институты (первым письменным международным договором, дошедшим до наших дней, был мирный договор между фараоном Рамзесом II и хеттским правителем Хаттусили III от 1283 года до нашей эры), мы должны понимать, что список договоров, связывающих разные государства, будет, в сущности, бесконечным. Исторически важных договоров, касающихся европейских дел, за последние годы наберется по крайней мере несколько сотен. Со времени Лиги Наций была введена регистрация заключаемых государствами договоров. В этом реестре 205 томов. Но еще более впечатляют цифры по договорам, регистрируемым в ООН (государства обязаны передавать в ООН информацию о заключаемых ими договорах): в 2500 томах собрано почти 50 тыс. договоров. Особенно «урожайными» оказались 60-е и 70-е годы прошлого века. Государствам приходится тратить немало усилий, чтобы обслуживать заключенные ими договоры (взять хотя бы чисто архивную деятельность, например, хранение оригиналов договоров и т.д.).

Чтобы увидеть, насколько тяжело это на практике, посмотрим на пример Польши. На конец 2010 года Польша была связана 1939 двусторонними международными договорами и 979 многосторонними конвенциями. В это число не входят международные договоры, заключаемые Советом Евросоюза от имени стран-членов. Выходит в общей сложности почти 3 тыс. договоров, которые кроме материальных затрат, связанных с обеспечением соблюдения договоров, требуют также расходов на чисто рутинные функции их правового обслуживания. Представьте хотя бы их объем и нагрузку на внешнеполитическое ведомство, которое занимается ежедневным обслуживанием договорной политики. За один лишь 2010 год Польша подписала 29 двусторонних договоров и 13 международных конвенций, ратифицировала 9 двусторонних договоров и 20 международных конвенций. В 2010 году в силу вступили 47 двусторонних договоров и 32 международных конвенции. Многие из них пред-

усматривали конкретные адаптационные мероприятия в области права или практики применения.

Таким образом, процесс институционализации и легитимизации международных отношений вступил в состояние высокого, практически полного «насыщения». Он имеет свои позитивные и негативные стороны. Институционализация и легитимизация обеспечивают предсказуемость, но существенно сковывают работу механизмов регулирования международных отношений.

Ничего удивительного, что подписание новых договоров и образование новых институтов проходит со все большим трудом. Как будто сама материя сопротивляется, защищая гибкость международных отношений.

Все труднее проходят переговоры, особенно по новым договорам всемирного масштаба. Выработка таких фундаментальных договоров, как, например, Договор о нераспространении ядерного оружия или Пакт о правах человека, была бы сегодня истинным чудом. Попытки изменения уставов некоторых организаций, в том числе Устава ООН, уже много десятков лет не дают результата. Даже изъятие из Устава ООН статьи 107, касающейся так называемых вражеских государств (во Второй мировой войне), оказалось невыполнимым. Договоры проходят политически неудобный ратификационный путь, но что важнее — они не успевают за изменениями в международном сообществе. Лучший пример последних месяцев — Лиссабонский договор о реформе ЕС 2007 года. Очень трудно появившийся после провала конституционного Договора ЕС, принятый в некоторых государствах — членах Союза даже не с первой попытки (например, Ирландия), он сразу же потребовал срочного внесения поправок. Финансовый кризис в Европе показал, что для отдельных государств (например, Германии) должны существовать договорные гарантии от злоупотребления коллективной ответственностью за фискальную беспечность отдельных стран.

Так неужели эра договоров и институтов заканчивается?<sup>16</sup> Договоры и институты — основа существующего меж-

дународного порядка. Ничто не в состоянии ослабить их роль как средства противостояния хаосу и дестабилизации. Но их значение скорее политико-психологическое, чем реально-нормативное. Все большую роль начинают играть связывающие политические обязательства. Возвращается время добрых традиций. Поведение государств в отношении проблем все больше приобретает черты кодекса доброй практики. Государства сотрудничают, потому что в мире коллективных публичных благ это становится все более выгодным в политическом плане.

\* \* \*

Если логика развития глобальной системы заключается в значительной экономической конвергенции Востока и Запада, их сближении, если не во взаимном растворении двух цивилизационных конгломератов, то встает вопрос, как будет выглядеть общецивилизационная форма глобальной системы.

Если бы культурно-цивилизационная конвергенция заключалась в целенаправленной вестернизации Востока, то это было бы доказательством своеобразного превосходства Запада. Правда, знатоки напоминают, что ни одна из восточных держав — даже Япония эпохи Мэйдзи — не превратилось в копию западного общества<sup>17</sup>. Также в период азиатского экономического чуда 60–70-х годов страны региона обвинялись в том, что они выборочно копировали принципы западной модели цивилизационного успеха. Они развивали принципы трудовой этики, потребительство, здравоохранение и науку, но пренебрегали важностью внутренней конкуренции и представительной власти<sup>18</sup>. Сегодня также понятно, что путь, по которому идет Китай, представляет собой оригинальную модель модернизации. Особенности китайской «сяньдайхуа» (упрощенно — модернизации) в том, что коллектив всегда стоит над индивидом, а власть остается централизованной<sup>19</sup>. В культурном отношении, однако, особенно велика роль потребительства.

Беглый взгляд на последствия экономического роста для культурного облика азиатских государств обнаруживает, что западные образцы гораздо быстрее и глубже проникают в Китай и Корею, медленнее в Японию, не говоря уже об Индии. Но это и понятно. Национальная идентичность всегда будет сильно давать о себе знать не только в Азии. Впрочем, даже в рамках так называемого Запада, виден парадоксально растущий разрыв в ментальности между Европой и Соединенными Штатами, о чем говорилось выше. Запад теряет культурное единство.

Похоже, что глобализация никогда не избавит культуру от национальной специфики. На глобализационный фон будет накладываться национальная специфика, а на нее, в свою очередь, — локальная, региональная. Общество будущего — это общество множества идентичностей. Однако попытки усиления фактора национальной идентичности, которая размывается иммиграцией и глобализацией, все же поддерживаются, например, в проектах создания великих музеев национальной истории (недавняя инициатива президента Саркози во Франции).

Как глобализация и конвергенция в экономике влияют на цивилизационные отношения в сфере религии? Сэмюэль Хантингтон прогнозировал, что религиозная идентичность станет главным фактором развития цивилизации и движущей силой мировой политики. Но с таким же успехом можно представить себе, что явная секуляризация европейского Запада, а с другой стороны — Китая и Японии скорее будет объединять эти цивилизационные центры, чем разделять их. А вот Америка будет ближе к Индии или исламскому миру, где религия играет гораздо более значительную роль в повседневной жизни. Феномен различия в степени религиозности населения в Северной Америке и в Европе объясняют тем, что спектр церквей и вероисповеданий в Америке гораздо богаче, и что там церкви и верования борются за своих приверженцев. Однако представляется, что высокая религиозность американцев объясняется скорее

значительно более стрессогенным, чем в Европе, образом жизни, а не конкуренцией церковей. Но это всего лишь домыслы, притом довольно вольные. С полным основанием можно предположить, что количество известных нам мировых религий останется без изменения. Трудно вообразить, что в ходе глобализации родится новая глобальная религия.

А что с языками, формирующими культурную идентичность? Будет ли в условиях экономического и политического «ренессанса Востока» английский язык укреплять свои позиции в качестве языка общения эпохи глобализации? Некоторые специалисты утверждают, что английский будет последним универсальным языком. Прежде всего потому, что развитие технологий (машинный перевод, в том числе и функции голосового последовательного перевода) устранил необходимость в общем языке. Люди будут прекрасно понимать друг друга как в устной, так и в письменной речи без всеобщего языка. Впрочем, этот тезис легко опровергнуть. Знание иностранных языков станет всеобщим культурным навыком независимо от возможности легко получать перевод с родного и на родной язык. Может быть, кроме английского, появятся и другие универсальные языки. Это тоже благодатное поле для размышлений.

Возможно, через сто или двести лет сами понятия «Восток» и «Запад» потеряют свое глубинное значение. Но процесс слияния, конвергенции, деглобализации мира в ближайшие 40–60 лет (двух-трех поколений), вероятно, будет переживать тонкую, хрупкую фазу. Внезапные спады и отступления конвергенционных тенденций — вполне вероятный сценарий развития событий. В политологических прогнозах наверняка еще появятся глашатаи цивилизационного Армагеддона.

Ключевое значение для будущего мира будет иметь то место, какое займет Китай (а также Индия, но, конечно, в меньшей степени) в процессе конвергенции.

В одном циклические и линейные теории могут вести к схожим выводам. Лучшим решением для мира был бы

триумф в Китае идеологии, которая опиралась бы на конфуцианство и принципы либеральной демократии. Если в циклическом понимании конфуцианство дает самую твердую гарантию преобладания фазы мира над фазой войны, а вектором линейного развития человечества является укрепление либеральной демократии, которая является лучшей гарантией мира (потому что демократии менее склонны вести друг против друга войны и т.д.), то конфуцианско-демократический Китай стал бы апофеозом мира и полюбовного улаживания споров. Проблема только в том, чтобы примирить конфуцианство с демократией, что представляется невероятным на первый взгляд. Но и исключать априори дрейф конфуцианства в сторону демократических принципов не следует, ибо много было иерархически жестко выстроенных религиозных доктрин, которые научились сосуществовать с демократией.

### 3. Исторические вдохновения и международная политика

Психологически ущербным результатом историософского мышления является рассмотрение настоящего и будущего как проекции прошлых событий. Политика, в том числе и международные отношения, по сути своей, — нечто непрерывное. В ней нет жестких рубежей, неподвижных вех. Чем выше темп изменений, тем взгляд на завтрашний день как на продолжение дня вчерашнего становится все более и более анахроничным.

Исследование истории — отнюдь не эффективный способ предвидеть развитие событий. Историки не должны заниматься прогнозированием будущего. Но часто они не могут устоять перед этим искушением. Одни идут ва-банк: профессора П. Кеннеди укоряют, что он уверенно предсказывал закат американской мощи и при этом отказывался от диагностики краха советской империи<sup>20</sup>. Другие про-

являют осторожность. Профессор Норман Дэвис, завершая свое эпохальное исследование европейской истории, проникает в будущее всего на несколько лет<sup>21</sup>. С одними прогнозами он попадает в точку (разделение Чехословакии), другие пока под вопросом (распад России) или совсем приходится невпопад (роль субрегиональных структур в европейской политике). Но у него, как ни ищи, не найдешь стратегических прогнозов. Фактор глобализации Китая, конца господства Запада даже не упоминается в его исследовании.

«Прошлое — карта, а не компас. Оно отражает человеческий опыт, останавливается в настоящем, но не дает никакого четкого направления... Тем не менее история — наш единственный путеводитель»<sup>22</sup>, — утверждает Пирс Брендон.

История учит смиренно взирать на фактор мимолетности. Она навязывает внутренние аналогии, велит искать в судьбах государств отражение естественных процессов жизни и смерти. Государства сравниваются с людьми (так когда-то Турцию называли «большим человеком Европы»), империи — с деревьями (Великобритания XIX века — это дуб, растущий из цветочного горшка), цивилизации — с одушевленными организмами (шпенглеровские культуры).

Трудно не прийти к выводу, что чем выше скорость изменений и чем более обширные пространства лишены ориентиров в отношении характера этих изменений, тем выше потребность в ссылке на историю, на ее логику, циклы, прецеденты. Вместе с тем, чем выше скорость изменений, тем чаще карта расходится с компасом.

\* \* \*

Вступление Польши в Евросоюз обычно сравнивают в историческом плане с крещением Польши при короле Мешко. Аллегория «второго крещения» так глубоко засела в сознании, что создавалось впечатление, что польская внешняя политика начала историю с чистого листа. Политиче-

ский дискурс переполнен параллелями с «пястовской» и с «ягеллонской» внешней политикой, переходом с «пястовской» фазы в фазу «ягеллонскую» и наоборот, взаимным противопоставлением обеих «концепций». К счастью, традиция поиска исторических параллелей остановилась на Ягеллонах, и призрак «саксонской» фазы, когда мы вели внешнюю политику, ища протекции в столицах других государств, не ожил (хоть намеков в этом отношении было достаточно).

Облачение внешней политики в исторические одежды всегда означает упрощение и стереотипизацию истории. В основе этого подхода предпосылка, что исторические параллели могут быть нейтральными в восприятии стороннего наблюдателя. Современные аналитики европейской политики требуют, например, чтобы Германия приняла на себя роль уравнивания внутриевропейских отношений. Европе всегда был нужен субъект, уравнивающий баланс сил. В XVIII–XIX веках таким субъектом была Великобритания. После Второй мировой войны эту роль выполняли американцы. В новом мировом и европейском порядке США не способны и не готовы справиться с этой ролью. Европейские институты (Еврокомиссия) примерялись к ее выполнению в перспективе и с долей идеализма. После кризиса 2008–2010 годов вера в возможность уравнивающей роли Еврокомиссии сильно упала. Это и привело некоторых наблюдателей к выводу, что единственным реальным фактором равновесия могла бы стать Германия. Однако ей пришлось бы отказаться от эгоистических рефлексов и уж тем более — от имперских амбиций. Но только она смогла бы выравнивать соотношение сил, смягчать споры и конфликты, конструктивно направлять процесс европейского сотрудничества. Для иллюстрации берется образ внешней политики Германии времен позднего Бисмарка (Берлинский конгресс 1878 года). Тогда, отказываясь от своих притязаний, Германия привела к гармоничному примирению интересов главных участников балканской политики. Параллели

с европейской политикой Бисмарка могут, однако, вызывать обоснованное раздражение не только в Париже, но и в некоторых других европейских столицах. Ее самоограничительный характер там всегда ставили под сомнение. Так же и в Польше: очень небольшие шансы на прославление бисмарковской политики. Очевидно, Бисмарк никогда не станет общепочитаемой в Европе фигурой.

В силу массы причин Ягеллоны стали в Польше предметом исторической идеализации, а Речь Посполитую Обоих Народов\* представляют как предшественницу мультикультурного, толерантного политического образования, которое сегодня воплотилось в Европейском союзе. У литовцев, конечно, свой, особый взгляд на Ягеллонскую унию. Там до сих пор громко звучит тезис, что союз с Польшей ослабил государственную и национальную идентичность Литвы. Однако при этом часто забывают, что без союза с Польшей Литву ожидала бы неизбежная маргинализация. Речь Посполитая дала Литве гарантии безопасности, закона и свободы, европейскую идентичность. Без Польши история Литвы, видимо, дошла бы до того же места, какое она занимает сегодня — на одном уровне с Латвией и Эстонией. Ягеллонский период все же дал литовцам гораздо более глубокое политико-историческое дыхание, чем у эстонцев или латышей. Тем не менее в Литве до сих пор часто смотрят с укором на Ягеллонов, хотя в последние годы тенденция оценивать по достоинству вклад Речи Посполитой Обоих Народов в литовскую историю заметно усиливается и наверняка будет только укрепляться.

У эстонцев и латышей нет оснований косо смотреть на историческую роль Польши. Курляндия и Семигалия в составе польской Ливонии пережили памятный до сих пор бум в развитии. Город Тарту (Дерпт) и несколько эстонских

---

\* Государство, возникшее в результате Люблинской унии в 1569 г., объединило Королевство Польское и Великое Княжество Литовское. — *Прим. ред.*

городов до сих пор хранят память о польском периоде правления в бело-красных элементах своих гербов и флагов. Польское правление там всегда предпочиталось российскому. Однако когда Ливония (кроме Латгалии) перешла к шведам, никто там не жалел о Польше. Вскоре шведское правление стало «золотым временем», а борьбу за сердца населения, если бы кто-нибудь был тогда в состоянии вести ее со шведами в Ливонии, мы проиграли бы с треском, несмотря на то что шведское правление было более жестким и централистским. Но оно было лучше, к тому же у людей здесь не было межконфессиональных проблем: местное население в большинстве своем было протестантами, католицизм привился лишь в Латгалии.

Тем более не стоит идеализировать ягеллонский период в Белоруссии и на Украине. Украина и по сей день является страной с разными цивилизационными привязанностями. Российский выбор на Украине окреп в XVII веке как результат фрустрации от невозможности встроить украинские интересы в формулу двуединой польско-литовской государственности. Украинцы переживали тогда синдром отверженности. Однако нет сомнения, что часть украинских элит, которые не поддались окатоличиванию и полонизации, сохранили, несмотря на это, сильную идентификацию с идеей Руси как части западного мира, границы которого в свое время обозначала Речь Посполитая. Они восприняли как свою неотъемлемую черту мощное осознание прав и свобод личности, либеральную интерпретацию православной доктрины. Еще в начале XVIII века популярная украинская поэма называла Польшу матерью троих детей — Ляха, Руса и Литвы (в поэме Лях и Литва вопреки воле матери убили Руса)<sup>23</sup>. Речь не идет даже о том, что без «ягеллонского» опыта украинские светские элиты не выработали бы в себе ощущения своего национального своеобразия и под культурно(церковно)-государственным напором Москвы «обмалороссили» бы украинскую особость. Ягеллонский фактор (независимо от ощущения господства и даже гнета,

который мог отложиться в памяти украинцев) нес в себе явно либерально-просвещенческий заряд. Под австрийским правлением Галицией (во второй половине XVIII века — начале XIX века. — *Ред.*) он стал одним из течений, из которого вырос украинский национализм. По удивительной иронии судьбы украинский национализм заострялся в оппозиции к всему польскому.

К счастью, белорусский национализм в историческом и культурном плане не был связан с Польшей. Главный спор по интерпретации истории шел между Белоруссией и Литвой. Белорусский национализм в своем наиболее радикальном виде даже отказывал литовцам в праве пользоваться названием их государства (и наследием ягеллонской Литвы). Радикалы требовали переименования Республики Белоруссия в Республику Литва (*Litvania*)<sup>24</sup>.

Во внешней политике «ягеллонская идея» обычно отождествляется в польском политическом дискурсе с продвижением Польши на Восток. При этом, однако, надо помнить, что в своей основе выбор этот был продиктован скорее необходимостью, чем умыслом. «Пястовский» выбор католического христианства был связан с поиском в папском престоле противовеса тевтонскому напору, что не принесло, однако, желаемых результатов. Единственным выходом было создание единого фронта с литовцами против мощи Тевтонского ордена. И этот выбор оказался верным. Однако в результате Польша была втянута в управление этнически и религиозно чуждыми пространствами и защищала некогда завоеванные литовцами границы от натиска Московской Руси и походов турок и шведов, что истощило Польшу и в военном, и в экономическом плане. Любители альтернативной истории могут предположить, что после победы над тевтонами наверняка было бы лучше вернуться на «пястовский путь» и возродить Польшу в Силезии и в Померании. С таким же успехом они могли бы предполагать, что более предпочтительные шансы выживания обеспечил бы Польше «переход» под турецкое владычество в

конце XVII века. Очень сомнительно, что подчинение Турции оставило бы нам надежду на успешное противостояние растущим в Европе силам — России, Пруссии и габсбургской Австрии. В конечном итоге невозможно найти убедительную альтернативу для польской внешней политики тех далеких времен.

«Пястовский» выбор в XVII веке наверняка означал бы вовлечение страны в геенну Тридцатилетней войны в Европе. Возможно, с территориальными приращениями (Силезия), но с очевидными экономико-демографическими потерями. «Ягеллонский» же выбор частично уберег нас от этого ада (частично — потому что в войнах со Швецией мы потеряли Ливонию), но обрушил на наши головы «шведский потоп»\*, который оказался еще более опустошительным.

Что бы ни говорили о польских политических предпочтениях в эпохи Пястов и Ягеллонов, их с большим трудом можно применить (даже в качестве «карты», не говоря уж о «компасе») к вызовам, стоящим перед сегодняшней польской внешней политикой. Польша Пястов может дать нам ощущение нашей глубоко укорененной исторической принадлежности к «латинско-западной цивилизации» и исторической обоснованности наших теперешних границ. Польша Ягеллонов — историческое удовлетворение державными границами Польши и чувством культурного обогащения от жизни в многоэтническом государстве.

Где же все-таки искать поддержку, вдохновение, примеры, если не в истории? Это ведь так свойственно человеку. А у политиков естественная реакция — искать себе образцы среди персонажей истории, как правило, из числа знаменитых соотечественников. Проблема состоит в том, как соединить несущие вдохновение исторические образы с требова-

---

\* Вторжение шведов в Речь Посполитую в 1655–1660 гг., причинившее государству огромный урон. — *Прим. ред.*

ниями политкорректности. Эти требования в наше время применяются к оценке исторических персонажей по современным меркам, принятым не только в своей стране, но и в межгосударственном пространстве общения. В этом убедился президент Ющенко, когда попытался ввести в национальный пантеон Украины Степана Бандеру. Для поляков, евреев, русских это стало нарушением абсолютно неприкосновенных моральных границ. Императив политкорректности очень сильно суживает поле выбора.

Впрочем, кажется, границы здравого смысла еще на месте. Даже если знаменитый персонаж (для немцев тот же Бисмарк, для французов — Наполеон, который, кроме Франции и Польши, нигде не вызывает положительных эмоций) не вполне хорошо воспринимается в Европе, то люди оставляют местным политикам полное право обращаться к этому персонажу как к источнику вдохновения и гордости. Потому что Бисмарк объединил Германию и сделал ее главным государством континентальной Европы, а Наполеон дал Франции минуту величия и воплотил в себе французский военный гений. Литовцы могут иметь свою точку зрения на роль маршала Пилсудского, но не должно вызывать аллергии наличие его бюста в кабинете польского руководителя. Больше неудобств в плане политкорректности вызывают портреты исторических деятелей иностранного происхождения. Какой, например, политический сигнал мог послать полякам портрет Екатерины II, оказавшийся в правительственном кабинете, скажем, в Вашингтоне или Берлине? Наверняка те, кто помещал такой портрет в таком интерьере, никакого сигнала не имели в виду. В конце концов памятник Александру II в Софии, где он зовется освободителем, или в Хельсинки, где тоже стоит его памятник как «Доброму Царю Александру», в Польше оставил скверную память, за что получил имя поработителя (подавление январского восстания 1863 года и т.д.), и сильных эмоций разные исторические оценки этого персонажа не вызывают. С Екатериной

II дело обстоит более эмоционально, несмотря на то что царствовала она за сто лет до Александра II.

Она любила философов. Те же в знак признательности называли ее Северной Семирамидой. Она любила литературу, хотя ее литературные опусы уже при ее жизни тихонько высмеивались. Она правила железной рукой и способствовала территориальному расширению и политическому укреплению империи. Тем не менее сразу после ее смерти ее сын, не говоря уже об элитах и обществе, выдал ей самую плохую характеристику. Самые плохие ассоциации вызывает ее имя и у соседей России. В Польше, понятное дело, потому что именно Екатерина расправилась с польской государственностью, вынесла ей приговор и лично проследила за его исполнением (единственной ее проблемой было то, что она хотела заполучить всю Польшу, но в силу политических обстоятельств была вынуждена поделиться добычей с сообщниками по разделу Польши). Не самые лучшие воспоминания остались о Екатерине в Турции и Швеции. Можно допустить, что сегодня те обиды, которые Екатерина нанесла как соседям, так и собственным гражданам (кровавое подавление пугачевского бунта), могут уже не вызывать тех эмоций, особенно если это касается отдаленных частей Европы или западного мира. Что, однако, решительно должно охлаждать энтузиазм ищущих в Екатерине вдохновения и видящих в ней образец, так это ее «болезненная ненависть» к Французской революции<sup>25</sup>. Идеалы Французской революции — одна из безусловных основ современной Европы (и всего западного мира). Екатерина боролась с ними со всем пылом и в акциях против Франции, и в подавлении восстания Костюшко в Польше, и преследуя «революционное писательство» в России. В морально-политическом плане Екатерину можно поставить наравне с деятелями русской истории масштаба Сталина. наших современников шокирует портрет Сталина, а портрет Екатерины — уже нет, хотя может и насторожить. В конце концов вызывает понимание, если принять

во внимание, что, несомненно, главной, а возможно, и единственной причиной, в силу которой портрет Екатерины появляется в берлинских или вашингтонских кабинетах, является то, что на нем изображена женщина-политик, олицетворяющая успех. И дело здесь вовсе не в политико-идеологических мотивах, а всего лишь в недостатке женских персонажей в мировой политической истории вообще и в политической истории отдельных государств в частности.

Однако представляется, что все труднее и труднее становится найти такие образы, которые соответствовали бы растущим с каждым днем требованиям политкорректности и международной приемлемости. Причина не только в международной политкорректности, но также и в том, что величие исторического персонажа мы измеряем другими, чем еще несколько лет назад, критериями. До сих пор величие традиционно связывается с завоеваниями, выигранными битвами, территориальными приращениями, умелым правлением. По таким критериям продолжают писать школьные учебники. Однако все больше будет расти потребность в таких образах, которые будут соответствовать иерархии ценностей западного общества.

Другой пример: Карл Великий. Его называют предтечей Евросоюза и европейского объединения вообще. Учрежденная в 1950 году городским советом Ахена премия имени Карла Великого называет его «основателем западной культуры» (эту премию получили, в частности, Иоанн Павел II, Бронислав Геремек и Дональд Туск). С первых дней истории Евросоюза каждый из его высоких функционеров ссылался на Карла Великого как патрона интеграции.

Традиция сохраняется по сей день: «Великий европейский монарх, Карл, меценат науки и культуры, реформатор европейской администрации и системы образования, объединил под своим правлением большинство стран, входящих сегодня в состав Евросоюза [...] Но [...] королевство

Карла Великого распалось всего через несколько десятилетий после его смерти. Войны и ненависть поделили Европу еще на двенадцать веков!»<sup>26</sup>. Избрание в конце сороковых годов прошлого века Карла Великого патроном европейского объединения было реакцией естественной и понятной. Фундаментом объединяющейся Европы стало послевоенное немецко-французское примирение. Карл Великий объединил под скипетром своего королевства земли сегодняшних Франции и Германии. Когда в 1957 году был подписан Римский договор, территория, которую он охватывал своим действием, совпадала с каролингским королевством. Европа Римского договора, несомненно, была Европой Карла Великого.

В современном Евросоюзе лишь несколько стран-членов (в их числе и Польша) никогда исторически не входили в домены власти Карла Великого. Должны ли они по сему поводу чувствовать, что им досталась второстепенная роль? Отнюдь нет. Как, впрочем, и государства, выросшие на территориях, которые в свое время сопротивлялись влиянию и власти Карла (сегодняшняя Греция, некогда боровшаяся с Карлом Византия).

Фигура Карла Великого в качестве патрона Европы, несомненно, имеет массу слабых сторон. Во-первых, он олицетворяет меньшую Европу — по сути, франко-германскую. Во-вторых — Европу многонациональную, но моноконфессиональную. Сегодняшняя Европа с ее полиморфичностью является качественно иной по сравнению с каролингской империей. В-третьих, каролингская империя была объединена военной силой. Сегодняшняя Европа срослась добровольно и мирно.

Проблема современной объединенной Европы в том, что она стала созданием исторически беспрецедентным и настолько новаторским, что идеальных параллелей в прошлом невозможно отыскать. Даже обращение к римским временам мало может помочь: Рим не был Европой. Когда был Рим, Европы не было вовсе. Само понятие «Европа»

родилось из греческой мифологии только при дворе Карла Великого.

Карлу пеняют на то, что, объединив Запад Европы, он похоронил шансы на объединение всей Европы. Приверженцы альтернативной истории говорят, что он слишком скоро поддался наущениям и принял императорскую корону в одолжение папе римскому, который таким образом хотел отделиться от Константинополя и опасался объединения Франкского королевства с Византией. Они доказывают, что Карл с успехом мог бы расширить свой политический ареал и построить общий дом с Константинополем. Византия лишь через 12 лет после коронации признала императорский титул Карла. Но вскоре споры политические наложился на споры религиозные между Римом и Византией, на долгие годы перечеркнувшие шансы на объединение.

Так потребуется ли Евросоюзу хоть для какой-либо политической цели фигура Карла Великого?

\* \* \*

Может быть, еще слишком рано делать выводы, но, похоже, наступают времена, когда, делая политику, нельзя будет сказать что-либо о будущем, не прибегая к помощи исторических подпорок. Так что нечего удивляться тому, что молодежь с неприязнью и сопротивлением относится к поиску образов героев в прошлых эпохах. Все больше фамилий в названиях улиц звучат для нее отвлеченной абстракцией.

Даже в чисто интеллектуальном плане рассмотрение международных отношений как серии новых фактов, которые надо подсоединить в качестве продолжения к кривой исторических циклов или же к синусоиде, отражающей логику истории, становится малопривлекательным, не говоря уже о мизерной политической полезности такого подхода.

Давайте попытаемся сменить перспективу и взглянуть на будущее под углом цели, к которой мир должен приближаться в области международных отношений.

#### 4. Телеология международных отношений

Международная политика — равнодействующая прежде всего внешней политики государств (следует при этом оценить также вклад и других субъектов международных отношений, но все же доминирующую роль пока играют государства), которая мотивирована их национальными интересами. Даже если в политике появляются альтруистические лозунги и устремления, то критерием их пользы остается национальный интерес. Трудно представить себе сознательные действия государства во вред собственным национальным интересам.

Нередко во внешней политике государств проявляются наднациональный фактор, мотивация общего блага, общечивилизационной цели. Служение интересам христианства в мире стало мотивом для крестовых походов средневековых монархов Западной Европы. Но идеи этой миссии бесповоротно были скомпрометированы уничтожением крестносцами Константинополя (после его захвата 13 апреля 1204 года). В более близком к нам времени идеи превосходства общего над национальным пропагандировали большевики. Внешняя политика должна была служить интересам мирового пролетариата, то есть триумфу коммунистической революции во всем мире. Если верить тогдашней российской пропаганде, Красная Армия подошла к Варшаве в 1920 году не для восстановления имперского влияния России, а ради экспорта революции, прежде всего в Германию, а потом, может быть, и в отдаленные концы Европы. Но очень скоро истинное, то есть национал-империалистическое, лицо внешней политики СССР стало для всех очевидным. Интернационалистская мишура служила идеологическим прикрытием для империалистической экспансии СССР в течение всего периода холодной войны. Его тупиком стала интервенция в Афганистане. Впрочем, чувство высокой миссии свойственно любой империалистической политике, вне зависимости от того, кто ее проводит. Британскую импе-

рию согревало сознание «бремени белого человека», французов — их «цивилизаторская миссия». Все выглядело так, будто природой империи был отказ от национальной мотивации экспансии. Даже Соединенные Штаты, строившие свою идентичность на международной арене под антиимпериалистическим знаменем, подвергались всеобщему осуждению за имперскую идеологию.

Таким образом, мировоззрение во внешней политике всегда служило целям осуществления национальных интересов. Но как эти накладывающиеся друг на друга, отрицающие друг друга, синергетически усиливающие друг друга или друг с другом конфликтующие интересы формировали процессы развития международных отношений как таковых? Является ли развитие международных отношений отражением более глубоких закономерностей? Не просматривается ли в нем понятие цели (сознательно поставленной или неосознанной)?

Концепция цели предполагает, что история идет по восходящей линии, а международные отношения качественно цивилизуются. Картина набирающего высоту полета истории отражает естественную потребность человеческой души — стремление к состоянию покоя, к благосостоянию и совершенству. Возможно. Если искать более общий смысл в развитии международных отношений, то центральное место в нем займет концепция мира.

Мотивацию можно искать далеко, начиная с религиозных корней цивилизации. Мир между людьми — ось иудаизма и главный посыл Торы. Видение пророка Исаяи легло также в основы христианства, ибо идея «мира на земле» идет рука об руку с «благой вестью», из которой выросло христианство. Ислам, что подчеркивают его многочисленные современные толкователи, учит прежде всего мирной жизни с другими «народами и племенами». И как апофеоз мирного существования видится буддизм.

Если мир всегда рассматривали как состояние желаемого совершенства, то война издавна считалась состоянием есте-

ственным и неизбежным. Со временем, однако, обозначился моральный фактор в ее ведении. Римлянам мы обязаны понятием справедливой войны (*Bellum iustum*). И хотя условия справедливой войны были довольно детально проработаны, на практике они остаются туманными. Павел Влодковиц описывал эти условия как относящиеся к персоне (войны могут вести только светские персоны), к объекту (войну можно вести только за возвращение собственного добра или собственной земли), к причине (целью войны должно быть установление мира), к духу (война не должна вестись под знаменем ненависти и мести), а также к полноте (никакие военные действия не могут вестись без их объявления монархом или Церковью). Справедливая война в условиях современных международных отношений вестфальского порядка стала «правом на войну» (*ius ad bellum*), принадлежащим каждому государству в решении международных споров.

Однако если в истории международных отношений искать логику прогресса, то она, несомненно, заключается в делегитимизации использования силы как средства решения споров. Последние сто лет — это период ускоренного продвижения к исключению насилия из международной жизни.

З. Бауман считает, что насилие сохранится до тех пор, пока будет существовать принуждение. А принуждение, в том числе и в международном масштабе, является формой легализованного насилия. Прогнозы Баумана пессимистичны. Из них следует, что «минувший век может войти в историю как столетие насилия национальных государств по отношению к собственным гражданам. По всей вероятности, после него наступит очередной полный насилия век — на сей раз вызванного прогрессирующей недееспособностью национальных государств из-за свободного действия глобальных сил»<sup>27</sup>. Он описывает новый тип войн — войны эпохи глобализации. Цель этих войн отнюдь не территориальные завоевания. Они ведутся не за контроль над

территориями другого государства, а чтобы заставить государство открыть свою территорию для сил глобализации. Это войны прежде всего за открытие всех пока еще не открытых дверей для свободного движения капитала, проводимая иными средствами политика свободы глобальной торговли. Однако дело в том, что для своей экспансии глобализация вовсе не нуждается в войнах. Она, кажется, лучше справляется с «вышибанием» дверей мирными средствами. Делать это с помощью войны как раз там, где это было до сих пор (канвой для рассуждений Баумана послужил опыт войн в Персидском Заливе и в Косово), совершенно иррационально с точки зрения баланса выгоды и потерь, как и интервенция в Ливии.

Войны последних лет против так называемых государств-изгоев не ставили целью их принуждение к подчинению ради самого принципа подчинения. За каждой интервенцией стояла конкретная стратегическая причина. Поэтому необходимо соединять освобождение Кувейта с более широкими проблемами поставок нефти из Персидского залива; изгнание талибов из Кабула — с борьбой с терроризмом; устранение Хуссейна — с проблемами нераспространения оружия массового уничтожения (впрочем, оказалось, что в качестве *casus belli* эту связь трактовали слишком вольно). Интервенции такого типа не новы в международных отношениях. Новым в наше время стал сильный моральный подтекст, к которому прибегли для легитимизации этих действий. Подробнее об этом чуть позже.

Излишне эмоциональный подход заставляет относиться к взрыву этнических войн начала 90-х годов XX века как к свидетельству тенденции эскалации насилия в международных отношениях. Некоторые малые народы, не имея возможности прибегнуть к допустимому правом принуждению, вступили на путь насилия, причем с положительными для себя результатами, то есть добившись независимости. Основа этих конфликтов стала ясной уже на стадии их острой фазы. Это был так называемый эффект разморозки.

Конфликты эти не возникли из ниоткуда и из ничего. Их взрыв был следствием того, что в течение долгих лет они искусственно сдерживались. Впрочем, это вовсе не означало, что мы вошли в новый век насилия. Уже сегодня с большой долей уверенности мы можем утверждать, что это был временный регресс в истории международных отношений, который в более широком плане вовсе не нарушил долгосрочной тенденции, коей является делегитимизация насилия и изгнание его из практики сосуществования. Эти войны были скорее эхом прошлого, чем предвестником будущего.

Глобализационные неврозы проявляются также и в том, что во всем мы хотим видеть признаки новых, чаще всего мегаисторических тенденций. Падение коммунизма спровоцировало выдвижение тезиса о приближающемся неизбежном триумфе демократии; а когда замедлилось шествие демократии и авторитарные режимы сопротивлялись международному давлению, сразу заговорили об исчерпании привлекательности западной модели демократии. Но вот достаточно было арабским народам выйти на улицу с протестом против стагнации и диктатуры, как мы заговорили о неисчерпаемой силе универсальных ценностей и демократических устремлений.

Если говорить об этнических войнах, то в ситуации ослабления международного порядка они были неизбежны. Но это вовсе не означает, что они составляют суть эпохи перехода к глобализации. И если даже они омрачали наши чувства, то надо сравнивать их со схожим опытом прошлого. Война в Республике Босния и Герцеговина стала причиной массы страданий, но не ввергла в конфликт весь регион, то есть Балканы с близлежащими странами, что не раз бывало в прошлом. Она также не втянула в крупный и затяжной конфликт ни Европу, ни мир. И это, как бы к этому ни относиться, свидетельство прогресса.

Сегодняшние войны — войны бедности. Большинство из более чем 30 государств (с начала 90-х годов их число

уменьшилось почти наполовину), в которых идет в настоящее время гражданская война или имеют место внутренние конфликты, страны бедные. Бедность и насилие смыкаются в порочный круг, из которого все труднее вырваться. Конфликты затягиваются или переходят в фазу криминального насилия. Более 1,5 млрд человек в той или иной степени затронуты политическим и криминальным насилием, имеющим все более серьезные последствия для развития и становящимся обузой для мирового сообщества. Так, например, ежегодные затраты на борьбу с пиратством в регионе Африканского Рога доходят до 2 млрд долларов<sup>28</sup>.

Неприменение насилия стало атрибутом цивилизационного прогресса, что прекрасно иллюстрирует практика международных отношений. Роль катарсиса, несомненно, сыграла Первая мировая война. Подписанный в 1928 году в Париже пакт Келлога–Бриана установил абсолютный запрет на ведение агрессивной войны. Правда, безрезультатно закончились попытки под эгидой Лиги Наций договориться об определении агрессии, чтобы установить сам факт агрессивной войны. С этой задачей справилась более узкая группа государств (СССР с его тогдашними европейскими соседями плюс Иран и Афганистан) в Лондонской Конвенции 1933 года. Заметим, что два важнейших элемента дефиниции и сегодня актуальны. Во-первых, применение вооруженной силы первым (запрет превентивных войн). Во-вторых, агрессией можно назвать только вооруженную акцию одного государства в отношении другого. Оба эти элемента были переосмыслены в ходе кампании против международного терроризма. Был выработан более гибкий подход к фактору превентивности (доктрина Буша), а вооруженные акты негосударственных формирований рассматривались как основание для действий по коллективной защите стран НАТО (решение НАТО о введении в действие 5-й статьи Вашингтонского договора после событий 11 сентября 2001 года).

Устав ООН 1945 года можно рассматривать как очередную ступень в логике прогресса, которому подчинены международные отношения. Устав в качестве нормы вводит всеобщий запрет на использование силы и угрозы ее применения. Допустимые случаи использования силы (индивидуальная или коллективная самооборона, а также действия с санкции СБ ООН) непременно рассматриваются как исключения из общего правила. Сам же принцип подвергся за последние годы довольно существенной реинтерпретации. Первый аспект был связан с возможностью принятия вооруженной акции без одобрения Совета Безопасности. Политические эмоции вызвала в этом контексте акция НАТО против Сербии во время косовского кризиса 1999 года. Для обоснования подобного типа поведения появилась концепция гуманитарного вмешательства или гуманитарной интервенции. Она касается необходимости использовать силу в отношении государства, на территории которого может произойти гуманитарная катастрофа (а в более широкой интерпретации — чтобы предотвратить массовые и серьезные нарушения прав человека). Менее спорный аспект имеет гуманитарное вмешательство, если к нему прибегают по мандату Совета Безопасности (например, Гаити 1994 г., Руанда 1994 г., Восточный Тимор 1999 г. и др.).

Но даже проводимые по мандату ООН гуманитарные интервенции вызывают серьезные возражения, особенно в странах Юга. Они видят в гуманитарной интервенции противоречие фундаментальному принципу международных отношений — невмешательству во внутренние дела. В особенности это касается случаев, когда интервенция происходит без согласия государства, на территории которого она проводится. Даже совершаемое по мандату СБ ООН, но без согласия данного государства гуманитарное вмешательство рассматривается им как оправдываемое легитимностью недопустимое действие (неимпериализм, неколониализм). Противоречивые мнения вызывают также случаи интервенции в отношении так называемых государств-бан-

кратов, в которых по причине отсутствия центральных властей трудно ожидать формального разрешения для таких акций.

Одни видят в этих противоречиях отражение конфликта двух международно-правовых норм: невмешательства во внутренние дела и защиты прав человека. Другие, отстаивая приоритет суверенности государств, видят в гуманитарной интервенции столкновение правовых норм с нормами морали в отношении жертв нарушения прав человека. Однако необходимо исходить из того, что тенденцией в международных отношениях является притупление остроты принципа суверенности государств. Европа давно уже перешла Рубикон в этом отношении. С конца холодной войны в документах не только Евросоюза, но также в документах ОБСЕ и Совета Европы активно идет ломка барьеров, заслоняющих государства от критики и политических действий со стороны партнеров. Сотрудничество в расширенной Европе (вместе с Россией) базируется на постоянном «вмешательстве» во внутренние дела в вопросах защиты прав и свобод граждан. Такой мандат имеют и ОБСЕ, и Совет Европы. Эта практика постепенно прокладывает себе дорогу и в Латинской Америке, и в Африке. Китай и Индия выступают с позиции защиты суверенитета своих стран от международного вмешательства. Однако больше всего проблем с правом внешнего контроля своих действий (особенно со стороны международных институтов) создают Соединенные Штаты.

После каждой народной революции в странах Юга, а недавние события в Тунисе, Египте или Ливии напомнили это с новой силой, революционные массы ставят вопросы: почему мир так долго ждал, почему мирился с правлением сатрапов, почему усилия для смягчения репрессий против народа были столь малы? Так что Запад подвергается критике с обеих сторон. Если он давит на сатрапов, то его подозревают в неокOLONиалистских устремлениях, если в конце концов приходит на помощь революции, его упрекают в слишком долгом промедлении.

Иммануил Кант, описывая путь к «вечному миру», пятую статью первого раздела посвятил принципу, гласящему: «Ни одно государство не должно насильственно вмешиваться в политическое устройство и правление других государств»<sup>29</sup>. В эпоху, когда революцией обосновывались попытки интервенции против Франции, а внутренние реформы в Польше послужили поводом для раздела страны, кантовский постулат был, несомненно, прогрессивен. Во времена, когда главным рассадником напряжения и опасностей в мире были признаны страны-изгои и страны-банкроты, кантовская статья выглядит анахронизмом.

Дилемма — суверенитет или права человека — решается не в момент, когда осуществляется вмешательство. Намерения (истинные, а не декларативные) выясняются, к сожалению, спустя некоторое время. Другими словами: справедливость вмешательства определяется по его результатам.

Проблему намерения, или глубже — коллизии принципа солидарности (морального) с принципом суверенности государства (правовым), попытались решить в ооновской концепции «ответственности по защите» (responsibility to protect). Эта концепция основывается на предпосылке, что суверенитет является не только правом, но и ответственностью. Выполняя обязанности, проистекающие из суверенитета, государство должно позаботиться о соответствующей защите своего населения от опасностей, связанных с массовыми нарушениями прав человека (этнические чистки, военные преступления, массовые убийства, преступления против человечности). Если какое-то государство не справляется с этой задачей, международное сообщество должно оказать ему помощь (финансовую, профессиональную, техническую, политическую, военную, гуманитарную). Если коллективные меры помощи не дают результата, возникает реальная угроза глубокого кризиса, который может выплеснуться за границы государства, международное сообщество обязано предпринять вмешательство, в том

числе и военное. Несмотря на первоначальное сопротивление и возражения со стороны развивающихся стран, принцип «ответственности по защите» нашел отражение в совместно принятых документах ООН. Так, на него ссылаются, в частности, итоговый документ саммита ООН в 2005 году, резолюции Совета безопасности 2006 года (S/RES/1674) и Генеральной ассамблеи 2009 года (A/RES/63/308). В ООН идут диспуты прежде всего относительно случаев, когда может быть использован принцип «ответственности по защите», и средств, которые можно применить при вмешательстве, особенно вооруженном). Комиссия Г. Эванса, которая в 2001 году сформулировала концептуальные рамки военного вмешательства, предложила шесть критериев его легитимности: наличие справедливого основания; добросовестность намерений; исчерпание других средств (крайний случай); законность полномочий; пропорциональность (соразмерность вооруженных действий масштабам проблемы) и достаточность ожидаемой эффективности (успеха военных действий). Все эти критерии, за исключением официальных полномочий на вмешательство, несомненно, могут довольно субъективно толковаться. Хотя и требование иметь официальный мандат для начала действий может на практике трактоваться весьма расширительно.

Впрочем, тенденция ясна. Политическая свобода, какую предоставляет принцип суверенности, сокращается. Государство попадает под все более жесткий международный контроль в том, что касается выполнения обязанностей в отношении своих граждан. Сопротивление этому принципу будет уменьшаться. Проблемой представляется нечто иное, а именно: способность международного сообщества к солидарному действию. Чем выше издержки гуманитарной интервенции (особенно человеческие потери), тем меньше склонность предпринимать ее. В стратегических масштабах в этом отношении могут пока действовать только Соединенные Штаты. Евросоюз предпринял уже более два-

дцати гуманитарных интервенций (лидируя в этом плане в Африке), но все это были маломасштабные операции. Логически напрашивается необходимость обеспечения принципа солидарных действий после того, как практика «ответственности по защите» станет универсальной.

Военная операция в Ливии в 2011 году позволила понять суть проблемы. Она показала, что дело вовсе не в правовых основаниях, не в формальной легитимизации военного вмешательства. С большими или меньшими переговорными усилиями этого удалось добиться. Даже те страны, которые скептически оценивали гуманитарное вмешательство, в частности Китай или Россия, не смогли помешать интервенции. Хранившие многозначительное молчание африканские страны не решились даже на робкие протесты. Главная проблема состоит в готовности государств, способных к ведению миротворческих военных действий, пойти на этот риск. США с самого начала не горели желанием действовать. Имея крупные бюджетные проблемы, ведя операцию в Афганистане, учитывая отсутствие энтузиазма в американском обществе в отношении возможных новых операций, администрация президента Обамы медлила с принятием решительных действий в отношении Ливии. Новая так называемая доктрина Обамы не оставляет иллюзий: Соединенные Штаты не хотят нести бремя «либерального империализма», не хотят играть роль «добротного шерифа» на службе у мирового сообщества. Это дало повод комментаторам объявить ливийскую войну «последним ура» либерального интервенционизма<sup>30</sup>. Государства богатого Запада, способные провести такие операции и считающие их политически оправданными, не готовы принять на себя их бремя, особенно финансовое (хотя финансовые возможности обьективно существуют всегда, не хватает общественного одобрения на их использование для военных целей). Государства набирающего силу Востока, в их числе Индия и Китай, располагающие потенциалом, способным облегчить бремя этих операций для Запада, не убеждены в легитимности кон-

цепции интервенционизма. Однако нельзя исключать и того, что каждая успешно проведенная операция по вмешательству будет усиливать в обществе и в СМИ потребность в очередных операциях. И тогда международное сообщество окажется перед угрозой, что концепция «ответственности по защите» лишится необходимого доверия. Надо надеяться, что вместе с ростом силы новых мировых лидеров будет зреть их готовность нести бремя ответственности за стабильность в мире, что они охотно подпишутся под принципом солидарности. Считается, что растущие государства пользуются значительно более высоким доверием, чем Запад. Лишенные колониально-имперского наследия, они не попадают под подозрение в тайных замыслах. Правда, не все соседи Китая, Индии и даже Бразилии будут целиком свободны от подозрения этих государств в скрытых намерениях, если дело коснется операций в их ближайшем географическом окружении.

Принцип солидарности может оказаться ключевым в функционировании «постконвергенционного» мира. Акция в Ливии в широком контексте народных арабских революций 2011 года поставила в центр внимания вопрос способа поддержки общественных устремлений, направленных на устранение сатрапий, на защиту населения от репрессий и посягательства на их свободу, на поддержку надежд на построение современных демократических государств. Это стратегический вопрос. На второй план отошла, возможно, еще более трудная в смысле реализации принципа солидарности проблема, а именно — проблема слабых государств и государств-банкротов. Понятие «государство-банкрот» было придумано для прикрытия американской военной операции в Сомали в 1992 году. Понятие укоренилось, а государство в Сомали — не укоренилось, и вот уже 20 лет эта страна — синоним государства-банкрота. Ничего не дают ни политические, ни военные, ни экспертно-технические меры (роль Комиссии ООН по миростроительству). Государства-банкроты выродились в хронически неполно-

ценные формы образований в международной системе. В крайнем случае к ним можно применить «саркофагизацию» для ограждения мира от пагубных последствий их существования. Но в эпоху глобализации у такой тактики есть ограничения. На худой конец ее можно применять в отношении проблемных государств (Чад, Гвинея-Бисау, Центрально-Африканская Республика, Гаити). Но что делать, если в списке государств-банкротов эксперты ООН начинают числить ядерную державу Пакистан? Государства-банкроты — настоящий тест для принципа солидарности в новом «конвергенционном» варианте.

\* \* \*

Глобализационная мантра: мир не стоит на месте, история не знает конца. Хотим мы того или нет, но научно-технический прогресс толкает мир вперед. И этого не сдержат. Технология, открытия, изобретения оказывают влияние на формы жизни общества. А вся цепь связей вызывает трансформацию институтов, политических систем, а также форм международной жизни. Но настоящая движущая сила, преобразующая мир, — это, согласно аксиоме профессора Йена Морриса, простые люди. Они хотят жить лучше, легче, дольше, интересней, и для достижения этого не перестанут изменять мир, причем порой не понимая смысла перемен, которые они сами вызывают. А меняющийся мир меняет ментальность людей. Структуры, институты, процедуры должны раньше или позже преобразиться под напором этих изменений. И как заметили классики марксизма-ленинизма, иногда проходят годы, и ничего не меняется, а порой за несколько дней меняется все.

Прошлое не впервые в истории теряет значение. Такое всегда происходит, когда ускорение развития возводит понятие прогресса в ранг абсолюта. Так было и во времена промышленной революции 150 лет назад, и в начале атомно-космической эпохи, не говоря уже о более ранних временах. А когда умами правит прогресс, то начинает казаться, что

история не входит в расчет, а контроль над настоящим дает возможность господствовать над будущим. Глобализация обострила ощущение прогресса. Причем новое качество прогресса в эпоху глобализации заключено не только в его масштабе. Оно состоит также и в том, что прогресс стал «дерегулированным и индивидуализированным»<sup>31</sup>.

Глобализационное ускорение не зашло бы так далеко, не показало бы такой сопротивляемости возможному регрессу, если бы не давление со стороны простых людей. Могло бы показаться, что финансовый кризис 2008–2010 годов должен был вызвать массовый рост антиглобалистских движений. А тут сюрприз: несмотря на первоначальные призывы к введению протекционистских барьеров и свертыванию отношений с миром, тенденция оказалась абсолютно противоположной — произошла дальнейшая маргинализация антиглобалистских движений даже на наиболее затронутом кризисом богатом Западе. Западные политики громко призывали к воздержанию от действий, которые могли бы ослабить связи с растущими государствами, потому что это могло бы затормозить динамику их роста. А поддержание динамики роста Востока — непереносимое условие роста богатства их обществ. Чем богаче там общество, тем выше спрос на высокотехнологичную продукцию и услуги, единственным поставщиком которых может быть Запад. Вспомним, что лавинообразный рост спроса на продукцию немецкого автопрома в Китае помог вытащить немецкую экономику из кризиса.

Мир вообще и международные отношения в частности, как никогда ранее в истории, стали заложниками ментальности толпы. В стародавние времена мощнейшее влияние оказывали природные факторы цивилизации — климат, географическое положение. Внешняя политика уже бывала и заложницей религии, и пленницей родоплеменных союзов. Она проходила также под знаком борьбы за доступ к рынкам, к сырью, к транспортным путям. Позже она стала заложницей идеологии. Сильнейшее влияние на ее формы в

наше время оказало появление оружия массового уничтожения. Динамичный импульс международной политике придали научно-техническая революция, по крайней мере со времени промышленной революции; и на идущей в наше время информационной революции дело наверняка не закончится. Но это всегда была осязаемая, конкретная зависимость. Сегодня, как никогда ранее, эта зависимость стала чрезвычайно эфемерной и изменчивой. Не подлежит сомнению — будущее мировой политики в большей, чем когда-либо ранее, степени будет разыгрываться в сознании людей, причем не только лидеров.

## Заключение

Путь к символической политической Пангее наверняка будет долгим и извилистым. Возможно, и сама Пангея — всего лишь футурологический мираж. В любом случае невозможно представить, чтобы конвергенционный образ мира содержал хоть какую-то заметную силу, которая вдохновляла бы текущую международную политику. Деятельность политиков и дипломатов на международной арене ограничивается, как правило, короткой перспективой (несколько, максимум десять с небольшим лет) и концентрируется на решении текущих проблем, напряжений и кризисов. Над политикой все явственнее нависает синдром «фрагментированного будущего», поэтому практическая пригодность представленных здесь рассуждений весьма скромная. Разве что они подведут к более глубоким размышлениям. Если прочитанное до сих пор не вызвало их, то вот последняя попытка сформировать несколько итоговых замечаний. Ибо трудно спорить с тезисом, что серьезные размышления во времена стремительных изменений могут оказаться исключительно полезными.

Возможно, в наблюдаемых нами сегодня политических процессах можно найти результат более глубокого переосмысления ценностей. Возможно, мы являемся современниками чего-то эпохального и действительно сама суть международных отношений претерпевает глубинную трансформацию. Возможно... Однако осторожность и отсутствие категоричности оправданны. Только через многие годы можно будет оценить происходящее сегодня истинной мерой.

\* \* \*

Начнем с самого общего типа изменений, происходящих в самом характере международных отношений. Эти отношения — вовсе не взаимодействие неизменных по своей сущности компонентов. Они как раз меняются. Традиционно характер отношений определяли государства. Их роль продолжает оставаться существенной и решающей, хотя влияние негосударственных участников международных отношений заметно выросло. Да и сами государства как субъекты отношений подвержены изменениям. Меняется их потенциал, меняются интересы, политика. Возникают новые международные образования (интеграционные структуры и т.д.), но изменяется также и сущность государства как субъекта международных отношений, потому что иной становится природа общества, из которого государство берет начало.

Следовательно, необходимо идти дальше и изучать, как изменяются те сообщества, интересы которых отражены в политике государства. И без глубокого социологического знания можно заметить эти изменения. Глобализация преобразует общества в невиданных доселе масштабах. Правда, результаты социологического анализа у разных социологов разнятся и могут фиксировать даже противоположные тенденции социальных перемен. Одни говорят об усилении кастово-иерархических тенденций и в качестве иллюстрации приводят факт существования «глобальной плутократии», с одной стороны, и слоя хронически бесполезных членов общества — с другой (взять хотя бы Германию: там растет количество семей, уже поколениями живущих на пособия по безработице). Другие отмечают новые процессы в социальных контактах, оживляющие ткань социальных структур и институтов.

Возможно, общества богатых западных стран эволюционируют в сторону многоуровневой конструкции с «изменяемой геометрией». Возможно, уже нарождается «новое общество», которое будет отличаться перманентным хаосом (но

без насилия), общество, пронизанное ментальностью флеш-моба<sup>1</sup>. Социальные контакты в нем обильны и интенсивны, но спонтанны и кратки. Сильна потребность в групповой солидарности, но у нее неглубокий характер. Чувство национальной принадлежности важно, но оно не обязательно реализуется под эгидой государства. Оно проявляется в эмоциях и от случая к случаю, скажем, на стадионах и на улицах во время встреч футбольных команд, каких-то мировых состязаний или же — во время национального траура, но в меньшей степени в дни государственных праздников. Общество становится суммой «сообществ» (не только интернет-пространства), самоорганизующихся по мелким и случайным поводам, и формирует совокупность «социальных сетей». Подобные особенности являются результатом суммирования процессов, вызванных массовым появлением новых коммуникативных технологий. Возможно, это преждевременные выводы. Но даже если для одних социологов это повод провозгласить переход от модели, построенной на совокупности различных общностей, к так называемой сетевой модели, а для других — это новые формы общности и трибализма, то все равно мы вынуждены признать, что имеем дело с новыми качествами социальных отношений<sup>2</sup>. Границы государства перестают быть границами самоорганизации общества. Теперь, в эпоху Интернета, единственная реальная граница самоорганизации — это космическое пространство.

Из всего этого для международных отношений следует один важный вывод: сеть социальных связей все меньше зависит от отношений между государствами. Она становится параллельным миром<sup>3</sup>. «Новое» общество порождает новые ожидания в отношении государства. Похоже, были неправы те, кто предрекал снижение общественной потребности в государстве. Правда, еще есть такие — замороженные свободой Интернета — кто сумеет выкрикнуть, что единственно, что им нужно от государства — это загранпаспорт (голос американки, отмеченный автором на сессии

форума Совета Европы «Демократия во имя будущего» в Ереване в 2010 году). Но это скорее проявление всплеска космополитических эмоций, чем отражение реалий.

Государство нужно людям. Недавний экономический кризис четко показал, что граждане ожидают от государства активной и эффективной роли. Ничто не заменит государства в его роли гаранта безопасности — физической, экзистенциальной, безопасности во всех ее видах. Каждый кризисный период усиливает потребность в безопасности. Такую потребность диктует сам темп перемен. Каждый день человек сталкивается с беспрецедентным количеством новых явлений. Он слышит новые слова. Он должен научиться обращаться с новыми приборами. Он слышит иностранную речь, сталкивается с чужими культурами. Все это вызывает в нем неуверенность. Когда неведомое вторгается в зажиточные дома Запада через двери и окна, нет более важной потребности, чем безопасность. Особенно если достигнут уровень достатка, гарантирующего удовлетворение основных бытовых потребностей.

Традиционная модель государства, также и в его либерально-демократическом варианте, служила прежде всего удовлетворению потребности в безопасности. И чем эффективнее эта потребность удовлетворялась, тем больше росла у людей потребность в свободе. Во времена процветания люди всегда старались получить больше свободы. Это создавало естественное напряжение между безопасностью и свободой, а иногда вопрос вставал ребром: больше безопасности или больше свободы?

Сегодняшние богатые западные общества не хотят окатиться перед такой альтернативой. Современная модель государства будет вынуждена адаптироваться к меняющемуся облику общества. «Государство, похоже, должно присутствовать всюду, хотя и в более тонких, разнообразных формах»<sup>4</sup>. Сегодня очевидно, что люди хотят сильного, но мягкого государства. Им нужно государство-спасатель, которое вмешивается только тогда, когда граждане оказы-

ваются в затруднении, с которым сами, без посторонней помощи, не в состоянии справиться. Государство будет становиться все более и более ненавязчивым. Разными могут быть его модели: с более или менее развитой системой перераспределения доходов, с большей или меньшей ролью в сферах образования, здравоохранения или социального обеспечения. Но при любой модели, даже с развитыми функциями управления, государство будет становиться все более и более мягким. Контакты гражданина с ним (уплата налогов, административные услуги — выдача свидетельств, разрешений и т.д. — и даже политические акты — голосование) будут происходить виртуально, в основном в электронном виде. Государство будет вездесущим, но мягким, что, впрочем, не лишает общественного одобрения его действий. Люди принимают оснащение общественной среды камерами слежения, потому что предпочитают их полицейским на каждом углу. Они свыкаются также с официальным сбором данных о своих разговорах и переписке, потому что предпочитают собранные в одном месте и хорошо защищенные данные цензуре и тайной полицейской слежке.

Согласно мнению социологов, перманентное состояние шаткости, ненадежности (*la precarité est aujourd'hui partout*, по выражению П. Бурдьё) лишает смысла необходимость прямого надзора. Люди хотят наслаждаться независимостью, отстраненностью, но в то же время требуют предсказуемости. Государство как институт коллективного общественного контроля должно по определению стать мягким государством, и поэтому оно будет эволюционировать в сторону «невидимого» государства. Это единственный для него способ дать человеку чувство свободы и сохранить способность гарантировать ему безопасность. Таким образом, государство станет одновременно своим отрицанием — антиэтатистским государством.

Концепцию «мягкого» государства, естественно, можно распространить и на международные отношения: государст-

ва всегда хотят одного и того же — пользоваться достаточным диапазоном суверенности, имея при этом прочные гарантии безопасности. Но на подходы к международным отношениям государства все более явно влияет мнение рядовых граждан. Суверенность государства — высокая ценность, если она реализуется в свободе его граждан в их внешних отношениях. А безопасность государства только тогда обладает высоким смыслом, когда она обеспечивает безопасность гражданину. Глобализация и разрастание «сетевого» сообщества за границы государства усиливает потребность индивидуально ощущаемой свободы и безопасности.

Все это подводит к довольно простому и, возможно, банальному выводу: система регулирования международных отношений может быть эффективной и устойчивой, если будет иметь неагрессивный, мягкий характер и если будет органично удовлетворять непосредственные ожидания граждан.

Одно несомненно: неотвратим конец эры империй, полюсов контроля стабильности на подчиненном или подконтрольном им пространстве.

\* \* \*

После окончания холодной войны идет поиск новой формулы мирового порядка. Переходная фаза между эпохами в мировой политике сама стала эпохой. И быть может, новая формула порядка (в виде институтов, политических договоров, методов руководства) так никогда и не возникнет. Быть может, по этому поводу не следует рвать на себе одежды. Важно одно: чтобы в нужный момент под рукой оказались эффективные механизмы регулирования.

Порядок, в том числе и международный, не работает без норм и стандартов. Но здесь точно так же, как и во внутренней жизни каждого отдельного государства, нет прямо пропорциональной зависимости между количеством норм и стандартов и качеством порядка.

В новой международной реальности — в «сетевом» мире — все труднее становится кодифицировать каждый аспект международного взаимодействия. Выработка универсальных международных инструментов происходит с все большим трудом. Увеличилось количество субъектов международных отношений. Усилилась их специфичность, снизилась контролируемость.

Регулятивная роль норм и права в международных отношениях все чаще сводится к функции default regime (режима «по умолчанию»).

Новаторские нормы поведения возникают иначе. Примеры уже есть в Европе. Государства Евросоюза все чаще определяют стандарты, которым вынуждена следовать остальная Европа. Иными словами, 27 стран ЕС определяют способ организации отношений, которому следуют независимо от желания остальные 20 государств так называемой большой Европы. Для части из них — тех, что идут по пути к членству в ЕС, — принятие стандартов Союза является естественным адаптационным механизмом, для других — необходимостью, продиктованной экономическими соображениями. Так действуют, в частности, швейцарцы не только в качестве акторов европейского экономического пространства, но также когда они вводят свободу передвижения людей в рамках Шенгена.

Все чаще не входящие в состав ЕС государства применяют в своих двусторонних отношениях брюссельские правила, причем даже тогда, когда это не связано с притязаниями на членство в ЕС и с необходимостью проводить адаптационную политику. Трудно найти более удачный пример эффективности политики проекции удачных примеров.

Результатом применения практики следования удачным примерам была бы система, которая строилась бы на экстраполяции минимальных стандартов отношений и правил поведения в международных делах при сохранении широкого поля для дополнительных переговоров между странами (по региональной, проблемной или открытой формуле) с

целью выработки особых, приспособленных к их нуждам принципов взаимодействия.

Применение режима «по умолчанию» серьезно помогло бы рационализировать деятельность международных организаций. Вместо того, чтобы заменять государство в его международной роли и создавать отношения надзора и подчинения, они создавали бы в международных отношениях систему поддержки (safety net). Эффективной многополярностью может быть только мягкая, гибкая, активная многополярность.

У концепций обеспечения международного порядка с помощью «мягкого империализма» (в американском, евро-союзном, китайском или любом другом варианте) нет шансов на успех. И здесь даже не о политкорректности речь. Люди просто не примут порядков, которые лишают их чувства хозяина собственной судьбы. Все труднее становится ввести порядок извне, даже в его лучшем, образцовом варианте, который удовлетворил бы ожидания населения: гарантировал безопасность, соблюдение закона, демократию и т.д. Не следует для обоснования этого тезиса ссылаться на опыт стабилизации в Ираке или Афганистане. Есть другие, более удачные примеры эффективного применения «либерального империализма» (хотя бы Босния и Герцеговина), но даже здесь невозможно говорить о его долгосрочной эффективности.

Ограничена эффективность и порядка, опирающегося на силу международных институтов. Уже ни у кого не осталось иллюзий — мирового правительства никогда не будет. Не будет также и региональных правительств, даже европейского (если проанализировать судьбу отклоненного Конституционного договора ЕС). Использование международных институтов для навязывания правительствам той или иной политики (практика МВФ) имело ограниченный эффект.

Простых решений нет. Однако ясно, что механизм регулирования международных отношений должен опираться на

сочетание инструментов и процедур и строиться на многополярности.

Это звучит как проповедь, но трудно не начать разговор о многополярности без аксиоматического замечания, что успешной многополярность может быть только на основе сотрудничества. Многополярность, основанная исключительно на политкорректности, тактичности, имеет ограниченную эффективность.

Характер встающих перед миром вызовов приведет к тому, что императив сотрудничества раньше или позже прольет себе путь к сознанию обществ и руководителей государств. Каждый кризис и ухудшение экономической ситуации ослабляет сотрудничество. В кризисе проявляются, как правило, дурные стороны человеческой ментальности. Первая реакция — защитить собственное имущество, даже за счет других. Казалось бы, логика подсказывает, что в кризис лучше объединять силы, а не тратить энергию на соперничество, но эмоциональными порывами руководит не логика, а эгоизм. Тем не менее императив сотрудничества будет пробивать себе дорогу. Так же как это произошло в одном «дворике» — в Евросоюзе.

\* \* \*

Это эссе начиналось с атаки на геополитику и историософию. Действительно: глобализация ослабила роль исторического и географического факторов в развитии государств. Но география не утратила окончательно своей роли. Никому не безразлично, кто его соседи и какие у этих соседей в отношении него намерения. Каждый хотел бы, чтобы у него было много бескорыстных друзей и поменьше грозных и непримиримых врагов. Никому не хочется оказаться вблизи кризисных очагов, каждый стремится держаться от них подальше. Никого не обрадует, что его территория оказалась в зоне действия оружия массового уничтожения или последствий экологических катастроф. Каждому хотелось бы иметь в распоряжении надежный запас стратегического сырья.

А еще каждому хотелось бы иметь историю, заполненную славными страницами побед и успехов, а не страданий и поражений. Понятно, что жизнь в состоянии исторической травмы совсем не способствует развитию.

Но все реже удастся определить географический и исторический рецепт жизненного везенья. Место на Земле перестало быть пропуском к успеху, но оно перестало быть и проклятием. Историческая травма от унижений перестала быть источником комплекса неполноценности. Так же как и имперское прошлое: оно перестало быть тем капиталовложением, которое смогло бы гарантировать лучшее будущее. Ни география, ни история больше не являются приговором, судьбой. Каждое новое поколение (а порой даже и каждая новая политическая команда) имеет шанс все начать сначала. Однако этот шанс сопровождается и стрессом — как каждое новое начинание.

\* \* \*

Куда же движется международная политика? Погоду в международных отношениях будут определять отнюдь не изменения в западной модели общества, государства, международных отношений, о чем мы подробно говорили выше. Они важны, но ключевое значение для международных отношений в ближайшей перспективе будут иметь последствия роста мощи Китая, Индии, Бразилии и других набирающих силу держав. Прежде всего следует считаться с влиянием этой растущей мощи на ментальность общества, характер поведения, и тем самым — на политику этих государств.

Мало кто верит, что набирающий силу Восток под влиянием богатства просто вестернизируется, то есть станет похожим на Запад. Одинаково маловероятна возможность, что он станет акцентировать свою культурно-политическую идентичность, противопоставляя ее Западу. Хантингтоновский прогноз «столкновения цивилизаций» основывался на удачном наблюдении. Вступление народов в массовый меж-

цивилизационный контакт вызывает напряжение. Исторически ареной контакта христиан с исламом были Балканы или Иберия. Сегодня это Германия, Швеция или Норвегия. Такой итог имела, в частности, мусульманская миграция в Европу. Но после взаимного привыкания к религиозной или культурной инаковости, как правило, наступает фаза взаимного проникновения и обогащения.

Напряженность периода новой политической конвергенции на уровне отношений между элитами можно вполне успешно снимать и сдерживать. Независимо от того, признаем мы или нет объединение элит в глобальном масштабе, движущей силой механизма разрядки напряжений будет возникновение новой глобальной плутократии (главного социального бенефициария глобализации). Политическое сознание элит во все большей степени будет формироваться под влиянием мировых взаимозависимостей и того обстоятельства, что логика конфликта дорого обойдется ее приверженцам.

Более значительная проблема — конвергенция сознания широких кругов общества. Достаточно взглянуть на непростые отношения Европы с исламским миром. Европейцы, несомненно, должны продемонстрировать большее понимание того, что ислам в течение долгих лет будет основой идентичности граждан арабских государств, и даже их воспитание в западной культуре, открытость для западных влияний не в состоянии изменить этого. Другое дело, что итогом политики прозападных саграпий в арабском мире стала пауперизация среднего класса. Для сохранения своего социального статуса он принял стратегию самоограничения потребления, обоснование чему было найдено в принципах ислама. Состояние среднего класса предопределило фиаско модернизации. Фиаско модернизации, в свою очередь, обусловило фрустрацию, которая открыла ворота общества для ислама социально-политического толка. Исключительно интересно, как в некоторых арабских странах традиционные социалистические и даже коммунистические пар-

тии влились в исламский поток. Не подлежит также сомнению, что чем больше исламское движение пополнялось от новых притоков, тем больше теряло в сплоченности. Знамя ислама объединило столь далекие друг от друга позиции, что становилось просто предметом. Участники уличных демонстраций, сбросивших несколько арабских диктаторов в 2011 году, требовали прежде всего ускоренной модернизации. Модернизацию можно проводить несколькими способами. Арабские демонстранты вовсе не требовали принятия в их странах модели, которую некоторые эксперты рассматривают как полноценную альтернативу западному либерально-демократическому образцу, которая генерирует необычайно высокие и устойчивые темпы роста, выводит из бедности сотни миллионов людей, вселяет чувство гордости своей страной, а государство наделяет величием. Другими словами, демонстранты не требовали принятия, например, китайской модели модернизации. Их требования были исключительно прозападного толка. Но требования эти выдвигали явно антизападно настроенные люди, недовольство которых отчасти касалось проводившейся Западом внешней политики. Другими словами, Запад в качестве образца свобод и благополучия — да, проводимая Западом внешняя политика — нет. Во многих арабских странах половина, если не три четверти общества открыто заявляют о своих антизападных настроениях. Часто такое отношение исходит из отождествления Запада с секуляризацией, потребительством, моральной вседозволенностью, разложением. Но наиболее часто встречающийся мотив антизападных настроений — критика внешней политики США и (в меньшей степени) Европы. Еще несколько лет назад эту проблему сужали, сводя к позиции Запада по палестинскому вопросу (и в особенности — к стратегическому партнерству США и Израиля). После событий 11 сентября 2001 года и начала борьбы с «Аль-Каидой», западные политики осознали более широкий контекст проблемы, которая представляет вызов для США. Ближний Восток стал для

Америки своеобразным ядром на ноге, ограничивающим американские возможности в разыгрывании роли политического руководства в мире. Ближний Восток стал регионом, в котором особенно Америку «не любят, не боятся и даже не уважают»<sup>5</sup>.

Для перспектив гармоничной политической конвергенции самое существенное значение имеет, конечно, проблема сосуществования ментальностей обществ Запада и набирающей силу Азии. Различия религиозные, культурные, бытовые сами по себе не станут катализатором политических напряжений. Примеры Японии или Южной Кореи показывают, что модернизация может привести к интересному культурному слиянию, в котором заимствованные у Запада образцы (поп-музыка, спорт и т.д.) смешиваются с традиционными поведенческими формами. Отсутствие же антизападных акцентов во внешней политике нельзя объяснить исключительно зависимостью обеих стран от американских гарантий безопасности. Ряд наблюдателей не считают опасения, связанные с предъявлением Китаем своих прав и с болезненной реакцией Индии на неоимпериализм Запада, устойчивой тенденцией. Такая позиция Китая, считают они, объясняется не столько доктриной, сколько давлением обстоятельств на принимаемые решения<sup>6</sup>. Настоящая проблема возникнет тогда, когда в широком общественном сознании Азии укрепитя понимание того, что существует более эффективный, чем западный, рецепт успешной модернизации — модель своеобразного неоазиатского социального строя, в котором элементы рыночной экономики будут соединены с сильным этатизмом и авторитарным политическим правлением. Тогда тезисы, ставящие под сомнение универсализм концепции прав человека, станут чем-то большим, чем один из мотивов в антизападной политической риторике. Они станут зародышем нового идеологического разделения. Тезис о новой азиатской модели общества уже получает сильную поддержку во властных кругах и среди левоориентированной интеллигенции Китая.

Там считают, что Пекин дает миру альтернативную социально-экономическую модель, более эффективную в экономическом плане и более справедливую в плане социальном, чем западная. Ее можно счесть отчаянной попыткой поиска новых идеологических одежд, предпринятой коммунистами, которым приходится править во все большем идейном вакууме. Если же у тенденции обоснования новой цивилизационной специфики азиатских обществ начнут расти крылья, то политические отношения в непростой период интенсификации международных отношений в эру новой конвергенции могут серьезно осложниться.

Ведь сам Френсис Фукуяма признал, что китайская модель правления не является всего лишь одной из мутаций авторитаризма и что ставить Китай на одну доску с Ираном или даже с Россией не следует. Эта модель точна, она способна четко и быстро генерировать решения, которые могут иметь крупные последствия, а еще ее характеризует определенная степень социальной ответственности. Главная же ее слабость в том, что четко действовать она может лишь в благоприятных социально-экономических условиях<sup>7</sup>.

Следует предполагать, что китайцы не меньше остальных заинтересованы в личных свободах, демократии, доступе к информации. Но концепция правления меритократии (пусть коммунистического и недемократического, зато компетентного правления), реализующей идею построения общества «сяокан» (гарантия образования, работы, крыши над головой, медицинского обслуживания, обеспечения продовольствием, одеждой, заботы о стариках в такой мере, чтобы вести если не благополучную, то во всяком случае достойную жизнь), попала на благодатную почву, подготовленную запросами общества. На это наложился глубоко закодированный в исторической памяти страх перед хаосом, дестабилизацией, политической неразберихой. Китайцы, вероятнее всего, будут идти к демократии через «сяокан», но нет сомнений, что на этом в долгосрочной перспективе люди не остановятся.

На дипломатических курсах на Западе все еще мало внимания уделяется изучению ментальности людей других культур. Там ограничиваются скорее поверхностными наблюдениями. В частности, учат, что, ведя переговоры с китайцем или японцем, необходимо помнить, что для них форма ведения переговоров часто значительно важнее их содержания, что очень большое значение имеет вежливость, обходительность, уважение к партнеру, что компромисс надо искать таким образом, чтобы у партнера всегда было чувство сохраненного лица. А вот с более глубокими слоями культурно-политического сознания — мировоззрением, историей, перспективой времени, которые имеют иногда решающее воздействие на поведение во время переговоров, западных партнеров, как правило, не знакомят.

Еще хуже обстоит дело с глубокими социологическими исследованиями на тему изменений, которые глобализация вносит в общественную ментальность азиатских партнеров. Изменения в западной психологии известны и широко описаны. Что же касается восточной, то здесь одни лишь фрагментарные наблюдения.

Ничто не может так повредить миру, как антизападничество. Для Запада, неуклонно теряющего решающее влияние на ход мировых событий, неизбежным станет созидание новой альтернативной силы — «привлечения умов», завоевания симпатий. А это, возможно, потребует серьезной переоценки существовавших до сих пор методов деятельности Запада в мире — военной вовлеченности, форм политической активности, политики помощи развитию, продвижения универсальных цивилизационных ценностей.

\* \* \*

Вернемся к основному вопросу — о форме мира, возникающего из глобализационных перемен. Отсутствие единой и очевидной картины мира, характеризующее современную международную политику, в какой-то мере понятно. Международная политика явно стала более прагматичной и

концентрируется на конкретных, близких проектах. «Чем слабее контроль над современностью, тем меньше “будущего” в ее проекте: отрезки времени, определяемые как “будущее”, становятся все короче, а диапазон жизни как целого разбит на последовательность эпизодов. [...] В жизни, основанной на принципе гибкости, жизненные стратегии, планы и желания могут иметь лишь краткосрочный характер»<sup>8</sup>.

Глобализация, по крайней мере в части богатых западных обществ, привела к «расщеплению идентичности». З. Бауман описывает это состояние понятием «палимпсестовой\* идентичности». Это — отражение мира, который «способность забвения считает козырем, столь же существенным, как и (а может, даже и более важным, чем) способность помнить; мира, где все новые и новые вещи и люди возникают в поле зрения и исчезают из него, и где сама память напоминает видеокассету, с которой всегда можно стереть прежние картинки и записать новые»<sup>9</sup>.

Индивидуализированный мир — мир новых начал. И ничего удивительного, что также и политика, в том числе и международная, во все большей степени становится «политикой нового начала».

*Корвинув–Страсбург,  
2011 год*

---

\* От греч. «палимпсест» — соскобленный. Рукопись на пергаменте поверх соскобленного или смытого текста. — *Прим. ред.*

# Примечания

## Введение

- <sup>1</sup> G. Rachman, *Think Again: American Decline*, „Foreign Policy” январь/февраль 2011 г., с. 59–63.
- <sup>2</sup> N. Ferguson, *Civilization: The West and the Rest*, London 2011, s. 288–294.
- <sup>3</sup> M. Wolf, *In the Grip of a Great Convergence*, „Financial Times” 5.01.2011.
- <sup>4</sup> См.: N. Ferguson, *Colossus: The Rise and Fall of the American Empire*, London 2005, s. 258.
- <sup>5</sup> Z. Bauman, *Zindywidualizowane społeczeństwo*, Gdańsk 2008, s. 46.
- <sup>6</sup> Ibidem, s. 46.
- <sup>7</sup> Ibidem, s. 53
- <sup>8</sup> R. Haas, *The Case for Messy Multilateralism*, „Financial Times” 6.01.2010.
- <sup>9</sup> *World Economic Outlook Database — April 2010*, IMF.
- <sup>10</sup> *World Development Indicators*, World Bank.
- <sup>11</sup> Вдохновение для развития «пространственно-временных» аналогий можно найти в частности в: S. Hawking, L. Mlodinow, *The Grand Design*, London 2010, с. 63 и далее.
- <sup>12</sup> Автор — профессиональный дипломат в ранге титулярного посла (Titular Ambassador). В настоящее время выполняет функции главы Управления по планированию политики в Секретариате Совета Европы. Был, в частности, заместителем министра иностранных дел в правительстве Марека Бельки, постоянным представителем Польши в Совете Европы, дирек-

тором департамента стратегии и планирования МИД Польши. Выраженные в тексте взгляды носят сугубо частный характер. Автор выражает особую благодарность г-же Анне Яловецкой за помощь в подготовке текста.

## I. «Межэпоха» и кошмары геополитики

- <sup>1</sup> J.D. Sachs, *Tropical Underdevelopment*, NBER Working Paper, nr 8119 (2001).
- <sup>2</sup> N. Ferguson, *Colossus: The Rise and Fall of the American Empire*, London 2005, s. 181.
- <sup>3</sup> G. Friedman, *Następne 100 lat. Prognoza na XXI wiek*, Warszawa 2009.
- <sup>4</sup> Ibidem, s. 20.
- <sup>5</sup> Ibidem, s. 23.
- <sup>6</sup> Ibidem, s. 23.
- <sup>7</sup> Ibidem, s. 27.
- <sup>8</sup> Ibidem, s. 55.
- <sup>9</sup> Ibidem, s. 28.
- <sup>10</sup> Ibidem, s. 242.
- <sup>11</sup> Ibidem, s. 76–77.
- <sup>12</sup> P. Kennedy, *The Rise and Fall of the Great Powers. Economic Change and Military Conflict from 1500 to 2000*, London 1989, s. 20–38.
- <sup>13</sup> См.: R. Kagan, *Paradise and Power: America and Europe in the New World Order*, London 2004.
- <sup>14</sup> I. Morris, *Why the West Rules — for Now: The Patterns of History, and What They Reveal About the Future*, London 2010.
- <sup>15</sup> R. Kaplan, *East is East, and West is West*, „International Herald Tribune” 26.04.2010.
- <sup>16</sup> D.S. Landes, *Bogactwo i nędza narodow*, Warszawa 2008, s. 203.
- <sup>17</sup> D. Brooks, *The Limits of Policy*, „International Herald Tribune”, 3.05.2010.

- 18 См.: E. Nolte, V. Shkolnikov, M. McKee, *Changing Mortality Pattern In East and West Germany and Poland: Long term trends (1960–1997)*, *Research Report*, „Journal of Epidemiology and Country Health” 2000, nr 54, s. 890–898.
- 19 R. Kuźniar, *Geostrategiczne uwarunkowania bezpieczeństwa Polski*, „Sprawy Międzynarodowe” 1993, nr 1, s. 9–28.
- 20 Ibidem, s. 10.
- 21 Zob. *Polityka bez strategii. Bezpieczeństwo Europy Środkowo-Wschodniej i Polski w perspektywie ładu globalnego*, pod red. A.Z. Kamińskiego, Warszawa 2008.
- 22 L. Moczulski, *Geopolityka. Potęga w czasie i przestrzeni*, Warszawa 2010, s. 528.
- 23 Ibidem, s. 567.
- 24 Ibidem, s. 544.
- 25 См.: P. Bajda, *Geopolityczne znaczenie Europy Środkowej — zaniebdane sąsiedztwo*, [in:] *Geopolityka i zasady. Studia z dziejow polskiej myśli politycznej*, pod red. J. Kłoczkowskiego, Kraków–Warszawa, 2010, s. 173.
- 26 L. Moczulski, op.cit., s. 314.
- 27 *Nowa koncepcja strategiczna Sojuszu Północnoatlantyckiego*, publikacja ISMUW — ISS, 2010.
- 28 Ibidem.
- 29 Ibidem., подчеркивание мое.
- 30 R. Rosecrance, *The Rise of Virtual State*, „Foreign Affairs” july/august 1996, t. 75, nr 4, s. 45.
- 31 P. Stephens, *Look Further Than the Fads and Fashions of Geopolitics*, „Financial Times” 19.02.2010.
- 32 См.: J. Thornhill, *How Asia Can Drive European Global Ambitions*, „Financial Times” 3.01.2008.
- 33 G. Rachman, *Why America and China Will Clash*, „Financial Times” 19.01.2010.
- 34 R.D. Kaplan, *The Geography of Chinese Power*, „International Herald Tribune” 20.04.2010.

- 35 СМ.: T.L. Friedman, *Containment-lite*, „International Herald Tribune” 11.11.2010.
- 36 P. Kennedy, *Don't Surrender US Influence to Beijing*, „International Herald Tribune” 30.09.2010.
- 37 *Nobel Reflects Clash of West and China*, „International Herald Tribune” 9–10.10.2010.
- 38 P. Bowring, *Two Among Many*, „International Herald Tribune” 2.11.2010.
- 39 СМ.: P. Brendon, *For China, Will Money Bring Power?* „International Herald Tribune” 23.08.2010.
- 40 СМ.: C. Waldman, *China's Demographic Destiny and Its Economic Implications: Population Changes Will Impact China's Longterm Economic Growth and Global Competitiveness*, Money Watch.
- 41 СМ.: R.D. Kaplan, *Obama and the New Eurasia*, „International Herald Tribune” 12.11.2010.
- 42 A. Beattie, *Changing Faces of Power: Stars Shine Bright But Fail to Transform the World*, „Financial Times” 18.01.2010.
- 43 G. Rachman, *America Is Losing the Free World*, „Financial Times” 5.01.2010.
- 44 J. Watss, *When a Billion Chinese Jump: How China Will Save Mankind — Or Destroy It*, London 2010.
- 45 J.A. Goldstone, *The New Population Bomb*, „Foreign Affairs”, t. 89, nr 1.
- 46 СМ.: M. Wolf, *Why the World's Youth Is in a Revolting State of Mind*, „Financial Times” 19–20.02.2011.
- 47 СМ.: A. Beattie, *False Economy*, London 2010, s. 95–120.
- 48 СМ.: в частности: *Deciding the Future: Energy Policy Scenarios to 2050*, World Energy Council, 2007.
- 49 Ch. Patten, *What Next. Surviving the Twenty-first Century*, London 2009, s. 28–41.
- 50 СМ.: N. Ferguson, *Colossus. The Rise and Fall of the American Empire*, London 2005, s. 54.
- 51 Ch. Patten, op.cit., s. 412.
- 52 N. Ferguson, *Colossus... op.cit.*, s. 301.

- 53 P. Heather, *Imperia i Barbarzyńcy: Migracja i narodziny Europy*, Poznań 2010, s. 638.

## II. Дипломатия экзистенциального кода

- <sup>1</sup> M. Sułek, *Prognozowanie i symulacje międzynarodowe*, Warszawa 2010, s. 14.
- <sup>2</sup> Ibidem, s. 35.
- <sup>3</sup> N. Ferguson, *Colossus...* s. 298.
- <sup>4</sup> См.: Ch. Patten, *What Next...* op.cit., s. 13.
- <sup>5</sup> Интересное применение конструктивизма в исследовании германской политики безопасности см. в: K. Malinowski, *Przemiany niemieckiej polityki bezpieczeństwa 1990–2005*, Poznań 2009, с. 34 и далее.
- <sup>6</sup> S. Žižek, „Europa” 2010, nr 1.
- <sup>7</sup> D.S. Landes, *Bogactwo i nędza narodow*, Warszawa 2008, s. 23.
- <sup>8</sup> Ibidem, s. 67.
- <sup>9</sup> D. Brooks, *The Gented Nation*, „International Herald Tribune” 11–12.08.2010.
- <sup>10</sup> D.S. Landes, op.cit., s. 233.
- <sup>11</sup> N. Ferguson, *The Decade the World Tilted West*, „Financial Times” 28.12.2009.
- <sup>12</sup> Литературное описание понятия экзистенциального кода дал Милан Кундера. См. его *L'art du roman*. Paris 1986, s. 46. А осветить помог Рышард Пшыбыльский. См.: R. Przybylski, *Cień jaskolki. Esej o myślach Chopina*, Krakow 2009, s. 254.
- <sup>13</sup> *Transatlantic Trends: 2010*, s. 4.
- <sup>14</sup> J.S. Nye jr., *The Pros and Cons of Citizen Diplomacy*, „International Herald Tribune” 5.10.2010.
- <sup>15</sup> H. Kissinger, *Diplomacy*, New York 1994, s. 382.
- <sup>16</sup> Ibidem, s. 229.
- <sup>17</sup> M. Wincockx, *Parle-moi de la France*, Paris 1995, s. 153, приведено по: A. Hall, *Charles de Gaulle*, Warszawa 2008, s. 489.

- 18 A. Hall, *op.cit.*, s. 362.
- 19 *Ibidem*, s. 363.
- 20 *Ibidem*, s. 362.
- 21 См.: N. Ferguson, *Civilization*, *op.cit.*, s. 284.
- 22 См.: A. Beattie, *False Economy*, London 2010, s. 127–138.
- 23 См.: N.D. Kristof, *Is Islam the Problem?* „International Herald Tribune” 7.03.2011.
- 24 Ch. Freeland, *The New Global Super-rich No Longer Look So Benign*, „Financial Times” 2.01.2010.
- 25 G. Deutscher, *Through the Language Glass. Why the World Looks Different in Other Languages*, New York 2010.
- 26 G. Rachman, *The West Re-examines the Rat Race*, „Financial Times” 1.06.2010.
- 27 Z. Bauman, *op.cit.*, s. 296.
- 28 *Ibidem*, s. 296.
- 29 Z. Bauman, *Zindywidualizowane społeczeństwo*, *op.cit.*, s. 121.
- 30 G. Rachman, *Europe Is Having a Midlife Crisis*, „Financial Times” 22.07.2010.
- 31 P. Stephens, *NATO's Long Drift Towards Irrelevance*, „Financial Times” 24.04.2010.
- 32 P. Stephens, *A Neuralgic Europe Trails Petulantly in America's Wake*, „Financial Times” 22.01.2010.
- 33 R. Chan, *The West's Preaching To the East Must Stop*, „Financial Times” 4.01.2010.
- 34 R. Kagan, *Paradise and Power: America and Europe in the New World Order*, London 2004, s. 4.
- 35 *Ibidem*, s. 9.
- 36 R. Kagan, *Paradise and Power*, *op.cit.*, s. 61.
- 37 J. Ziegler, *Nienawiść do Zachodu*, Warszawa 2010.
- 38 D. Moïsi, *France the Morose*, „International Herald Tribune” 28.10.2010.
- 39 J. Kornblum, *Germany in Need of a Dream*, „New York Times” 23.04.2010.; см. также: *In Greek Crisis, a Window on German Psyche*, „New York Times” 4.05.2010.

- 40 См.: „*Russian Soul*” and *Economic Modernization*, „Russia in Global Affairs”, июнь/сентябрь 2003.
- 41 R. Sennett, *The Corrosion of Character*, New York 1998.
- 42 R. Haas, *The Case for Messy Multilateralism*, „Financial Times” 6.01.2010.
- 43 Ibidem.
- 44 R. Cohen, *The Age of Possibility*, „International Herald Tribune Magazine”, December 2010.

### III. Повороты и взлеты истории

- 1 См.: R.E. Neustadt, E.R. May, *Thinking in Time: the Uses of History for Decisions Makers*, New York 1986.
- 2 См.: G. Modelski, *Long Cycles in World Politics*, Seattle–London 1987.
- 3 G. Friedman, *Następne sto lat...*, op.cit., s. 142.
- 4 См.: N. Ferguson, *The War of the World*, London 2006, s. LXIV.
- 5 См.: A. Korotayev, D. Khalturina, *Introduction to Social Macrodynamics: Secular Cycles and Millennial Trends*, Moscow 2006.
- 6 См.: L.F. Richardson, *Statistics of Deadly Quarrels*, 1960.
- 7 См.: D. Pilling, *Japan Finds There Is More to Life Than Growth*, „Financial Times” 6.01.2011.
- 8 P. Khanna, *Future Shock? Welcome To the New Middle Ages*, „Financial Times” 29.12.2010.
- 9 M. Wolf, *In the Grip of a Great Convergence*, „Financial Times” 5.01.2011.
- 10 K. Pomeranz, *The Great Divergence: China, Europe, and the Making of the World Modern Economy*, Princeton 2009.
- 11 I. Kant, *O porzekadle... Do wiecznego pokoju*, Toruń 1995.
- 12 J.L. Goldsmith, E.A. Posner, *The Limits of International Law*, New York 2005, s. 8.
- 13 Ibidem, s. 8.

- 14 Ibidem, s. 225.
- 15 T. Łoś-Nowak, *Organizacje w stosunkach międzynarodowych. Istota–mechanizmy działania–zasieg*, Wrocław 2004, s. 39.
- 16 См.: J.P. Rubin, *Farewell to the Age of the Treaty*, „International Herald Tribune” 23.11.2010.
- 17 N. Ferguson, *The War of the World*, op.cit., s. LXIX.
- 18 Ferguson, *Civilization...* op.cit., s. 306.
- 19 E. Lee, *Where the New East Parts From the West*, „International Herald Tribune” 28.04.2011.
- 20 P. Kennedy, *The Rise and Fall of the Great Powers...* op.cit.
- 21 N. Davis, *Europe: A History*, London 1997, s. 1133–1136.
- 22 P. Brendon, *Like Rome Before the Fall? Not Yet*, „International Herald Tribune” 26.02.2010.
- 23 См.: Z.E. Kohut, *The Question of Russo-Ukrainian Unity and Ukrainian Distinctiveness in Early Modern Ukrainian Thought and Culture*, [in:] *Culture, Nation and Identity. The Ukrainian–Russian Encounter (1600–1945)*, ed. A. Kappeler, Z.E. Kohut, F.E. Sysyn, M. von Hagen, Edmonton–Toronto 2003, s. 57–86.
- 24 См.: R. Ritter, *Three States, One Common Past: Chance or Malediction? The Role of History and Historiography in the Formation of Collective Identities and Mutual Relations in Belarus, Lithuania and Poland*, [in:] *Far Empires and an Enlargment: States, Societies and Individuals: Transferring Perspectives and Images of Central and Eastern Europe*, ed. D. Brett, C. Jarvis, I. Martin, London 2008, s. 63–78.
- 25 См.: W.A. Serczyk, *Katarzyna II*, Wrocław 2004, s. 295–310.
- 26 Речь проф. Ежи Бузека, председателя Европарламента, в Ахене на закрытии конференции Европа-Форум: *Pogłębienie integracji — korzystanie z sił Europy*, 12.05.2010.
- 27 Z. Bauman, *Zindywidualizowane społeczeństwo*, op.cit., s. 262.
- 28 World Bank — *World Development Report*, 2011.
- 29 I. Kant, op.cit., s. 52.
- 30 G. Rachman, *Libya, a Last Hurra for the West*, „Financial Times” 29.03.2011.
- 31 Z. Bauman, *Zindywidualizowane społeczeństwo*, op.cit., s. 139.

## Заключение

- <sup>1</sup> S. Žižek, *Dlaczego kapitalizm zaczyna zwyciężać?* „Europa”, январь 2010 г.
- <sup>2</sup> См.: D. Bartowski, *Internet a usieciowienie relacji społecznych*, „Kultura Współczesna” 2005, nr 1(43), s. 41–62.
- <sup>3</sup> См.: P.A. Świtalski, *Niecierpliwość świata. Uwagi o polityce międzynarodowej czasu globalizacji*, Warszawa 2008.
- <sup>4</sup> J. Raciborski, *The State and the People: Relations Old and New*, „Polish Sociological Review” 2011, nr 1(173).
- <sup>5</sup> A.D. Miller, *The Much Too Promised Land*, Philadelphia 2010, цит. по: G. Wheatcroft, *America’s Unraveling Power*, „International Herald Tribune” 11.02.2011.
- <sup>6</sup> См.: Yang Yao, *Beijing’s Motives Can Often Be Simply Pragmatic*, „International Herald Tribune” 7.02.2011.
- <sup>7</sup> F. Fukuyama, *Democracy In America Has Less Than Ever To Teach China*, „Financial Times” 18.01.2011.
- <sup>8</sup> Z. Bauman, *Zindywidualizowane społeczeństwo*, op.cit., s. 140.
- <sup>9</sup> Ibidem, s. 111.

# Именной указатель

- Арон Р. 132  
Балладюр Э. 50  
Бауман З. 10, 12, 98, 158, 186  
Брендон П. 144  
Бродель Ф. 124, 125  
Бурдьё П. 174  
Буш-младший Дж. 106, 116, 160  
Валлерстайн И. 16, 122, 124, 125  
Вебер М. 86, 88, 89, 90  
Влодковиц П. 158  
Гегель Г. 134  
Геремек Б. 153  
Голдстоун Дж.А. 58, 60  
Голь де, Ш. 86, 87  
Гонсалес Ф. 100  
Дэвис Н. 145  
Иоанн Павел II 153  
Кант И. 134, 164  
Каплан Р. 34  
Карл Великий 153, 154, 155  
Кеннеди П. 30, 32, 74, 144  
Кондратьев Н.Д. 122, 124  
Кузьняр Р. 38  
Купер Р. 104, 134  
Ленин В. И. 134  
Лэндис Д.С. 34, 74  
Маккиндер Х. 24  
Маннгейм К. 90  
Маркс К. 134  
Модельски Дж. 16, 125  
Моррис Й. 33, 168  
Най-младший Дж. 81  
Обама Б. 33, 41, 83, 166  
Олбрайт М. 100  
Сен А. 94  
Сен К.И. 77  
Сеннет Р. 113  
Смит А. 94  
Сорокин П. 132  
Стиглиц Дж. 94  
Сяобо Л. 54  
Тойнби А. 123  
Тоффлер Э. 90  
Туск Д. 153

Фергюсон Н. 75

Фихте И. 134

Фишер Й. 100

Фридман Дж. 27, 28, 29, 30,

41, 45, 51, 126

Фукуяма Ф. 184

Хаас Р. 115, 116

Хантингтон С. 89, 142

Хизер П. 65

Ходжи Э. 77

Шпенглер О. 123

Эванс Г. 165

# Содержание

<i>Введение</i> .....	5
<b>I. «МЕЖЭПОХА» И КОШМАРЫ ГЕОПОЛИТИКИ</b> .....	20
1. Кризис, мировой порядок и геополитика .....	20
2. Геополитические кошмары Европы .....	30
3. Импульсы польской геополитики .....	39
4. Виртуализация государства и геополитика .....	47
5. Китай и попытки гальванизировать геополитику .....	50
6. Мировой порядок и публичные блага .....	63
<b>II. ДИПЛОМАТИЯ ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОГО КОДА</b> .....	68
1. Сила и политика .....	68
2. Политика и эмоции .....	79
3. Европейские неврозы в эмансипирующемся мире .....	93
4. Стиль дипломатии – отражение общественных отношений .....	113
<b>III. ПОВОРОТЫ И ВЗЛЕТЫ ИСТОРИИ</b> .....	121
1. Логика цикла и логика конвергенции .....	122
2. Восходящие линии и синусоиды... ..	134
3. Исторические вдохновения и международная политика .....	144
4. Телеология международных отношений .....	156
<i>Заключение</i> .....	171
<i>Примечания</i> .....	187
<i>Именной указатель</i> .....	196

Библиотека Московской школы  
гражданского просвещения

*Петр А. Свительский*

Путь к Пангее:  
международная политика  
в эпоху «глобализационной  
конвергенции»

Компьютерная верстка В. Козак

Подписано в печать 18.10.2013.  
Формат издания 60x90<sup>1/16</sup>  
Печ. л. 12,5. Тираж 1000 экз. Заказ № 099-13.

Московская школа гражданского просвещения  
127006, Москва, Старопименовский пер., д. 11/6.

e-mail: [mmps@mmps.su](mailto:mmps@mmps.su)

<http://www.mmps.su>

Изготовлено ООО АЛЬТАИР  
(Орехово-Зуевская типография)